

Юрий Мельников

Зона Лимбо



*Не бойся.
Я не враг.
Я — часть тебя,
а ты —
моя же часть*

Оглавление

Пролог	2
Глава 1. Вертиго	8
Глава 2. Пыль	13
Глава 3. Ферма	18
Глава 4. Дым.....	24
Глава 5. Синее платье	30
Глава 6. Мандала.....	35
Глава 7. Куколка	38
Глава 8. Приход.....	43
Глава 9. Перрон.....	51
Глава 10. Берлин	57
Глава 11. Серая зона.....	62
Глава 12. Танго	66
Эпилог	70
Глоссарий.....	73



Зона Лимбо

Пролог

Ноябрь сочился сквозь кирпичное крошево, сквозь сизую пемзу тумана, оседая на плечах чужого, снятого с чужого плеча, слишком просторного пальто. Ганс Вебер — так звали пустоту внутри этого сукна, так было выведено каллиграфическим, бухгалтерским почерком в справке, выданной не существующим более ведомством, шагал по Банхофштрассе.

Шагал, прислушиваясь к тому, как город расступается перед ним: не из почтения расступается, нет, а из пепельного, стылого безразличия. Ганновер просыпался с открытыми глазами, похожими на выбитые витрины. Солнце, затёртая латунная пуговица на кителе мёртвого неба, едва просвечивало сквозь пыль. Ганс Вебер, не служивший, торговый представитель, протестант, искал жену. Искал двух мальчиков, Клауса и Дитера, чьи голоса все ещё плескались в его левом ухе, словно застрявшая в перламутровой раковине морская вода, вода, которая медленно, но неизбежно становилась солёной кровью.

Из распоротых животов полуразрушенных домов, из-за занавесок, сшитых из мешковины, сочилось радио. Эфир в Серой зоне страдал неизлечимой аритмией, он был болен частотами, которых не было на шкале настройки. Никто не знал, чья рука поворачивает рубильник, но из динамиков, сквозь треск статического, стеклянного электричества, лилась тягучая, словно патока, «Лили Марлен» — замедленная, будто иглу патефона вели по бороздкам чьим-то бледным пальцем.

Vor der Kaserne, vor dem großen Tor...

Музыка вязла в воздухе, а затем обрывалась, и наступало время Голоса.

Голос читал имена.

Сухой, лающий, надломленный берлинский тенор с лёгким рейнским акцентом — голос — мёртвого? — доктора с Александерплац, который теперь, из подвалов московского небытия, читал списки. Он читал их с той особенной, лишённой жалости гипнотической интонацией, с какой зачитывают инвентарные описи.

Эстер Розенблюм, тысяча девятьсот двенадцатого. Мориц Кляйн, тысяча девятьсот третьего. Рут Кляйн...

Имена падали, как мерные капли из проржавевшего крана. Это были списки людей, торговавших сейчас эрзац-хлебом на соседней улице, людей живых, дышащих, но в голосе радио-призрака они уже превратились в числа, в золу, в тягучий сладковатый дым, тянущийся над их домом.

Ноа Гольдштейн, тысяча восемьсот девяносто второго года рождения. Место смерти — Треблинка. Дата смерти — четырнадцатое августа тысяча девятьсот сорок второго года.

Вебер прижал ладони к ушам — ладони, чистые, с аккуратно подстриженными ногтями — но голос шёл не снаружи, а изнутри, из того места, где кость соединяется с памятью, и заткнуть его было нельзя.

В этом мире, неправильном, бракованном мире не было никакой Треблинки. В этом мире война кончилась в октябре. Гольдштейн — жив. Сидит в мастерской. Шьёт костюм. Вдевает нитку с первого раза. Улыбается. Даты — нет. Места — нет. Самого слова нет.

Нет, Вебер не слушал имён. Нет, Вебер шёл к портному, перебирая ногами, как слепая, спелёная куколка, куколка, ждущая превращения, но забывшая, в какую именно бабочку ей предстоит обратиться.

В подвале мастерской пахло мелом, нагретой шерстью и пылью — запахом остановленного времени. Гольдштейн, старый еврей с глазами цвета влажного асфальта, сидел у керосиновой лампы. Он шил. Игла входила в ткань и выходила из ткани, вход-выход, вход-выход, и каждый стежок был маленьким решением, крошечной попыткой сшить разодранное на части время.

— Ваш костюм, герр Вебер. Почти готов, — произнёс портной, не поднимая головы, и голос его шелестел, как сухая листва по брусчатке. — Хорошая ткань. Довоенная. В хорошем костюме всё легче. Даже не быть собой, — и то легче.

Вебер сел на стул, и стул тотчас стал тем, чем является всякая вещь в этой зоне — пустотой с ножками. Подвал качнулся. Пространство комнаты дрогнуло, как нагретый воздух над жаровней, и сквозь закопчённые стены проступила бесконечная, чавкающая грязь.

Ноа не сидел у лампы. Ноа стоял.

Он стоял на холодном ветру, и на нем не было жилетки, только тонкая, промокшая насквозь полосатая роба, а за его спиной тянулись ряды деревянных, геометрически безупречных бараков, уходящих в серую, как форма Вермахта, вечность.

— *Вы ведь хотели меня сжечь, герр Ланг?* — сказал портной, и губы его не пошевелились, но слова прозвучали, отдавшись в висках Вебера гулом электрической печи. — *Но спички отсырели... да?. Вы плохо спали сегодня, герр Ланг?*

Гул оборвался. Снова тикал маятник. Лампа коптила.

— Вы совсем бледный, герр Вебер, — Гольдштейн смотрел поверх сползших очков, и в его взгляде была та невыносимая, спокойная точность, с

которой мёртвые смотрят на тех, кто забыл умереть. — Сходите на вокзал. Сегодня пришёл поезд из Штеттина. Может, ваша семья там? Человек ищет — значит, он ещё жив. Человек перестаёт искать — значит, он уже...

— Нет, — сказал Вебер быстро. Слишком быстро. Как ложь. — Они остались в Берлине. Хельга не уехала бы из Берлина.

— Хельга? — Портной наклонил голову. — Красивое имя. У меня была клиентка — Хельга. Другая Хельга, конечно. До войны. В Берлине. Она любила синий цвет. Говорила: синий — цвет верности. Я шил ей платье — синее, с белым воротником. Такое платье... — Он провёл пальцами по воздуху, рисуя контур чего-то, что существовало только в его памяти. — Такое платье, в котором можно пережить конец света, и после конца света кто-нибудь посмотрит на тебя и скажет: красивое платье.

Вебер уже не слушал. Он выскочил на улицу, жадно глотая морозный воздух, отталкивая от себя слова старика, но улица уже не была улицей. Раздался хруст. На углу, шурша широкими шинами, стоял британский патрульный «Виллис». Двое в оливковом лениво курили. Они искали. Они смотрели на лица.

И тогда Вебер почувствовал запах.

Густой, животный, тошнотворно-кислый запах паники, расщепленного адреналина, металлической испарины. Запах страха. Он знал его досконально. Ещё в августе, в тренировочных лагерях СС, он вдыхал этот пар, поднимающийся от тех, кого приводили к нему, запах тех, кто понимал, что стал мясом. Он был дирижёром этого запаха. Он был его создателем.

Но сейчас никого не было рядом. Запах исходил из его собственных подмышек. Из его кожи. Из его пор. Он встал в шеренгу. Он стал добычей.

Не помня себя, Фриц Ланг, он же Ганс Вебер, бросился в узкий переулок. Он бежал, задыхаясь, спотыкаясь о кирпичи, и переулок складывался гармошкой, сужался, стены росли вверх, покрываясь грязным весенним снегом. Где-то далеко, а может быть, совсем близко, внутри его собственной черепной коробки, захлебнулась лаем овчарка. Одна. Вторая. Лай означал, что след взят.

Звук его собственных шагов начал меняться. Рваное дыхание, топот ботинок по камню — всё это плавно, страшно перетекло в равномерное, сытое урчание мотора.

Фриц моргнул. Он больше не бежал.

Он сидел на мягком, скрипящем кожаном сиденье армейского «Кюбельвагена». Его руки, обтянутые идеальной черной кожей офицерских перчаток, спокойно лежали на коленях. Машина медленно катилась по мартовской грязи варшавского гетто. А впереди машины, задыхаясь от

животного ужаса, стирая в кровь ноги, спотыкаясь, бежал человек в слишком просторном, с чужого плеча снятом пальто.

И этот бегущий человек, этот затравленный зверь, оглядывающийся на собак, был он сам.

А тот, кто сидел в машине, лениво следя за погоней сквозь чистое стекло ветрового окна, тот, кто чувствовал абсолютную, геометрическую правильность происходящего — тоже был он. Причина и следствие поменялись местами. Палач охотился на своё собственное милосердие.

Переулок кончился. Вебер упёрся ладонями в мокрую стену у железнодорожного вокзала. Сердце колотилось. Собак не было. Никогда не было. Он — Ганс Вебер. Из Бремена. Торговый представитель.

Поезд из Штеттина стоял на втором пути. Длинный, грязный, с выбитыми стёклами. Люди вытекали из вагонов медленно, как выходят из темной воды — тяжело, неохотно. Женщины с узлами. Старики. Все с одним и тем же выражением лиц, принадлежащих тем, кто прибыл, но не приехал.

Он стоял на перроне и смотрел, как пространство снова начинает предавать его.

Каждая женщина в сером пальто на секунду становилась Хельгой. Каждый мальчик, цепляющийся за подол — Дитером. Но чем дольше он смотрел на поезд, тем сильнее заплывали досками выбитые окна вагонов. Двери обрастали тяжёлыми наружными засовами.

Это был другой поезд. И перрон был другим.

Люди не выходили медленно. Их выгружали. Быстро, быстро, *schnell*, прожектора били в глаза, лай рвал перепонки. Он стоял на этом перроне, и перед ним вилась бесконечная, покорная шеренга, и его собственная, в черной перчатке рука поднималась и опускалась. Направо. Налево. Жить. В печь. Направо. Налево. Каждое движение — стежок иглы, маленькое решение, маленький выбор. Аккуратно. Как колонка цифр.

И тут он увидел их.

В толпе беженцев, спускающихся на ганноверский перрон тридцать девятого года, шли Хельга, Клаус и маленький Дитер. Живые. Настоящие. Дитер плакал, прижимая к груди деревянную игрушку. Они спаслись. Они приехали. Ему нужно было только сделать шаг, окликнуть их, обнять. Начать новую, безымянную, тихую жизнь в этой зоне лимба.

Он сделал полшага. Клаус оглянулся, и замер.

Нет. Он найдёт их. Обнимет Хельгу. Клаус скажет «папа». Дитер заплачет — он всегда плакал, когда боялся, а потом, когда переставал бояться, тоже. Они

будут жить — здесь, в этой зоне, в этом лимбе, и он будет Гансом Вебером, торговым представителем из Бремена, и никто — никто — не узнает.

И всё будет — хорошо. Но это уже было — он уже говорил себе это раньше, и ещё раньше, и ещё раньше, чем раньше. И это всё повторяется, как заевшая пластинка.

И он будет лежать ночью рядом с ней, и потолок будет белым, и в темноте — серым, и потом чёрным, и потом потолок исчезнет, и вместо потолка — дым. И он будет знать, откуда этот дым. И в том мире, в том прекрасном мире, где Рейх стоит тысячу лет, Хельга стирала бы его форму. И Клаус маршировал бы, ровно, чётко, как учили в школе. И Дитер перестал бы плакать, потому что мужчины не плачут, потому что плач — это слабость, а слабость — это нет. И по утрам из трубы за холмом шёл бы дым, и они бы не спрашивали — чей, и он бы знал, и знание это было бы привычным, как привычен дождь, как привычен ветер, как привычно всё, к чему привыкаешь.

И Ноа Гольдштейн не шил бы костюмы. И Ноа Гольдштейна — не было бы. И той, другой Хельги, которая любила синий — не было бы. И платья синего, с белым воротничком — не было бы. И мальчика на перроне — не было бы. И мальчик не оглянулся бы.

И если бы этот идеальный мир победил, если бы прямо сейчас он наступил...

Пространство лязгнуло. Снова. Ловушка захлопнулась. Он посмотрел на светлые волосы жены, — и увидел её в мешковатой, грязной робе. Увидел Клауса, прижимающего к себе бледного Дитера. Он увидел, как его собственная, идеальная, затянута в черную кожу рука... указывает им налево. В печь. Потому что порядок требует чистоты. Потому что машина не знает милосердия.

Вебер стоял на перроне, не смея подойти к ним, не смея коснуться их. Он смотрел, как чья-то семья проходит мимо, растворяясь в толпе чужих, спасённых людей, которых он не убил.

Поезд ушёл. И вокзал ушёл вместе с ним. Вечер застал его на Банхофштрассе.

Солнце ушло — стремительно, воровски, как уходит человек, не желающий быть свидетелем. Ганновер лежал в сумерках, и сумерки были ему к лицу, как бывает к лицу пальто, сшитое точно по мерке — сумерки скрывали то, что нельзя было видеть при свете, и обнажали то, что свет прятал.

Из парикмахерской на углу вновь доносился голос мёртвого пропагандиста, монотонно читающий имена неслучившихся мертвецов. Он не останавливался — ни днём, ни ночью, ни в этом мире, ни в том — он читал, как читает река, как читает дождь, как читает огонь: без начала, без конца, без запятой, без помилования.

Вебер остановился. Он слушал.

Он слушал имена людей, которые в этом мире были живы, а в том, другом, в том, который он чертил, проектировал, высчитывал, в том, где всё было правильно, и чисто, и по закону, в том мире их не было. Ни одного. Они были — цифрами. Они были — дымом. Они были — пеплом, удобрявшим газон у их дома, на котором потом выросла бы трава, и трава эта была бы зелёной, потому что пепел — хорошее удобрение, об этом тоже были расчёты, и расчёты сходились, и колонки были ровными, и почерк — аккуратным.

Рахиль Ковальски, тысяча девятьсот десятого...

Он слушал, и имена входили в него, как входит игла в ткань, — ритмично, точно, стежок за стежком, — и каждый стежок пришивал его к этому месту, к этому тротуару, к этому миру, где они все — живы, где портной шьёт, где мальчик оглядывается на перроне, где женщина в сером пальто уводит ребёнка за руку — к этому миру, где он — никто.

Торговый представитель из Бремена. Протестант. Не служил. Ищет семью.

Он стоял, и в витрине парикмахерской — в той треснувшей витрине, которая удваивала каждого, — было его отражение. Смутное. Без лица. Рядом — другое, маленькое, сутулое, в очках, с бородкой.

Гольдштейн? Снова? — Нет. Блик. Трещина. Тень от фонаря. Никого.

А голос читал:

Фриц Ланг...

Он отшатнулся.

— тысяча девятисотый...

Но голос продолжил другой датой, другим именем, другой судьбой.

Не его. Пока — не его.

Человек без имени стоял на Банхофштрассе, в городе, который притворялся городом, в зоне, которая не была ни зоной, ни миром, ни чистилищем, а была швом. Линией, по которой один мир пришит к другому, стежок за стежком, и если потянуть за нитку — оба расползутся.

Он стоял и слушал голос, который читал имена людей, которых он не убил. В этом мире не убил.

И это «не» — тоньше нитки, тоньше паутины, тоньше лезвия, проведённого между двумя мирами — было единственным, что стояло между ним и тем, кем он был.

Между ним, — и тем, кем он хотел быть.

А на втором пути стоял пустой состав из Штеттина, и в пустых вагонах гулял ветер, и ветер пах ничем.

Совсем ничем.

Но над вокзалом, над этим унылым городом, над всей этой серой, растерзанной зоной, на самой границе обоняния, там, где запах перестаёт быть физиологией и становится состоянием души, тянулся густой, сладковатый, невыносимо знакомый запах крематорного дыма, которого не было.

Синие платье с белым воротничком.

Глава 1. Вертиго

Расстояние от Ораниенбурга до Львова составляет тысячу восемьдесят километров по имперскому шоссе — если имперское шоссе существует, если мосты не взорваны, если бензин не кончился где-то между Бреслау и Краковом, если колонна не расстреляна с воздуха, если штаб ещё стоит на том месте, где он стоял вчера, если вчера ещё было вчерашним днём, а не геологической эпохой, отделённой от сегодняшнего утра непроходимым слоем горелой бумаги, пепла и человеческого оцепенения.

Расстояние от Львова до Берлина — семьсот девяносто. Расстояние от мужа до жены — неизмеримо.

Фриц Ланг, унтерштурмфюрер СС, адъютант коменданта лагеря специального содержания *KL Sachsenhausen* — так значилось в документах, и «специальное содержание» означало содержание, от которого содержимое имело свойство убывать, и документы эти Фриц составлял сам, собственноручно, аккуратным бухгалтерским почерком, потому что аккуратность была для него не качеством, а позвоночником, — стоял в коридоре реквизированного воеводского управления, прижимая к уху телефонную трубку из чёрного бакелита, тяжёлую, как кастет, холодную, как камень, — и слушал.

Он слушал голос жены.

Провод — серый, витой — тянулся к аппарату на стене. Аппарат был привинчен к штукатурке польскими шурупами, штукатурка — нанесена польскими руками, которые теперь, вероятно, копали польскую землю или уже лежали в ней.

Но голос шёл. Голос шёл из Берлина — по медной проволоке, натянутой на деревянных столбах от Львова через Краков, через Бреслау, через поля, на которых ещё не остыли воронки, — и само это было чудом, хрупким, невозможным чудом: стена, провод, аппарат, трубка, ухо, голос — вся эта цепочка держалась на честном слове, на последнем натяжении, и каждый звук по пути терял что-то от себя, как теряет тепло вода, текущая по трубам зимой, —

и голос Хельги, добравшийся до его уха, был уже не совсем её голосом, а его тенью, его слепком, его отпечатком в воске помех.

— ...Дитер не спал всю ночь, — говорила Хельга, и голос дрожал, но не ломался, — и в этом было что-то такое, от чего Фрицу хотелось разбить трубку о стену и одновременно — вжать её в ухо так глубоко, чтобы голос проник в кость, в мозг, в ту часть сознания, где хранится то, что ещё не стало воспоминанием. — Он слышал, мы все слышали — бомбили Шпандау, мы были в подвале у Шмидтов, потому что наш подвал затоплен — и Клаус молчал всю ночь, Фриц, молчал, не плакал, не звал меня — просто сидел с открытыми глазами, — и я не знаю, что хуже: когда ребёнок кричит — или когда ребёнок молчит.

— Хельга. Хельга, успокойся.

— Я собрала два чемодана. Один — детские вещи. Второй — документы и зимнее. Мама звонила из Штеттина, там тихо, англичане бомбят только заводы, а в Штеттине нет заводов, там порт, но порт — это не завод, Фриц — поезда ещё ходят...

— Хельга, послушай.

— Нет, — и в этом её «нет» была та особая женская твёрдость, которая твёрже любого приказа, потому что приказ можно не выполнить, а «нет» жены — нельзя, оно не подлежит обжалованию, не имеет инстанции, не записывается в журнал входящих. — Нет, Фриц, ты послушай...

— Я слушаю, — сказал Фриц, и голос его стал тем голосом, которым он разговаривал не с женой, а с подчинёнными: ровным, размеренным, голосом человека, владеющего обстановкой. — И я говорю тебе: оставайся в Берлине. Дороги сейчас — худшее место. Ты останешься дома. Штеттин — это порт, но порт — это цель, Хельга. Порт — это корабли, это снабжение, это то, что бомбят вторым, после заводов. Берлин — крепость. Фюрер в Берлине. Пока фюрер...

— Фюрер не в Берлине, — сказала Хельга. — Фюрер в Пруссии. Все знают.

Фриц сжал трубку. Ладонь вспотела. Откуда она знает? Расположение Ставки — Вольфсшанце, Растенбург, Восточная Пруссия — было секретом, но секреты в Берлине жили не дольше, чем масло на сковороде: шипели и испарялись, и фрау Шмидт знала то, что знал Генштаб, и знала раньше, потому что Генштаб получал сводки по каналам связи, а фрау Шмидт — от фрау Мюллер, от бакалейщика Гроссмана, от зубного врача, который лечил жену адъютанта начальника штаба — по той человеческой проводке, которая работает без столбов, без тока, без шурупов и которую никакой десант не в силах перерезать.

— Хельга. Послушай меня. Пожалуйста... Включи радио. Фюрер знает, что делает. Да, русские ударили в спину, — сказал Фриц. — Да, Сталин нарушил пакт. Но ты должна понимать, Хельга, — и здесь голос его обрёл ту дидактическую, почти отеческую интонацию, которая так раздражала Хельгу и которую он сам

принимал за убедительность. — Ты должна, хоть немного, понимать политику: Черчилль ненавидит коммунистов. Антанта не пойдёт на сделку со Сталиным. Британцы, французы, они остановятся, как только увидят красные флаги у Вислы. Это закон, Хельга. Это — закон истории... У нас есть резервы...

— Фриц! — крик Хельги ударил ему в ухо так резко, что он вздрогнул. В этом крике больше не было жены офицера СС. Была только самка, спасающая детёнышей. — Бомбам плевать на Черчилля! Им плевать на Сталина! У них нет глаз, Фриц! Они падают сверху! Им всё равно, на кого падать — на танковый завод или на детскую кроватку Дитера! Я уезжаю. Я кладу трубку и увожу детей.

— Хельга, я запрещаю...

Линия оборвалась — не постепенно, не затухая, а сразу, как обрезают ножницами, как обрезают пуповину, — и по ту сторону разреза осталось всё: квартира, вешалка, запах кофе, голос Дитера из ванной, Клаус с открытыми глазами, два чемодана у двери, а по эту — тишина. Пустая, окончательная тишина мёртвого провода, тишина перерубленной нити, тишина, в которой нет даже гудка, потому что гудок — это ещё система, это ещё порядок, это ещё связь, а здесь — ничего. Обрыв. Воронка. Пустота.

— Хельга?

Он нажал на рычаг. Отпустил. Нажал. Покрутил ручку. Покрутил ещё раз. Медная проволока, семьсот девяносто километров натянутой меди — молчала. Где-то между Краковом и Бреслау, или между Бреслау и Лигницем, или в чистом поле, где столб стоит среди осенней борозды — где-то там нить порвалась: снаряд, сапёры, сапог, ветер, просто тяжесть мира, навалившаяся на тонкую жилу, — и разговор кончился.

Два чемодана. Один — детские вещи. Второй — документы и зимнее.

Дверь в конце коридора распахнулась — не открылась, а именно распахнулась, ударившись о стену, — и к нему бросился Вальтер Бремме, роттенфюрер связи. Обычно вылощенный, педантичный связист сейчас выглядел так, словно его протащили на верёвке по щебню. Китель расстёгнут, глаза расширены до состояния двух блюдец, в которых плескался чистый, неразбавленный ужас.

— Герр унтерштурмфюрер!

— Бремме.

— Русские, герр унтерштурмфюрер, — и слова выскакивали из него не по порядку, как выскакивают вещи из чемодана, когда чемодан открывают на ходу, — парашютисты — десант — под Люблином — и под Радомом — и, говорят, под Краковом — ночью — массажированный — связи нет...

— С кем нет связи?

— Ни с кем.

Это «ни с кем» упало в коридор и осталось лежать — не отскочило, не прокатилось, а именно — легло, заполнило собой пространство между стенами, между лепниной и полом, между замазанным орлом и портретом фюрера на противоположной стене, легло и стало воздухом, которым теперь нужно было дышать.

— Со штабом группы — нет, — продолжал Бремме, и голос его обрёл ту монотонность, которая бывает у людей, перешедших от паники к перечислению. — С Берлином — нет. С комендатурой Кракова — нет. Линии перерезаны. Они режут провода, герр унтерштурмфюрер. Они — везде... Танки генерала Гудериана стоят без горючего — эшелоны горят... Поляки ударили в спину — те остатки, что прятались по лесам, соединились с Советами... А на западе...

Бремме сглотнул.

— Французы перешли Рейн, герр унтерштурмфюрер. Они даже не стреляют. Они просто едут на грузовиках по нашим автобанам. Англичане уже в Бельгии... У нас там нет войск. Рейх зажат с трёх сторон.

— Что с фюрером? — спросил Фриц. — Растенбург?

Бремме посмотрел на него. И в этом взгляде — секундном, скользющем — было то, чего Фриц не видел на лице подчинённого ни разу за все месяцы службы: не страх, страх был нормой, страх был рабочей средой, страх был тем, что они производили, а нечто иное. Растерянность. Та особая, младенческая растерянность, которая наступает, когда человек обнаруживает, что пол, по которому он шёл, кончился.

— Растенбург молчит с четырёх утра, герр унтерштурмфюрер. Говорят — десант. Говорят — парашютисты на подходе к объекту. Но это, может быть, слухи.

— Слухи, — механически повторил Фриц.

Он повесил трубку. Медленно, аккуратно — на рычаг, точно на рычаг, — потому что аккуратность не может кончиться, аккуратность — это последнее, что остаётся, когда всё остальное уже рассыпалось. Трубка легла на рычаг, и руки Фрица легли вдоль тела, и он стоял в коридоре, прямой, застёгнутый на все пуговицы, выбритый, безупречный, стоял, как стоит столб, когда проволоку уже срезали, но столб ещё не знает об этом.

Он поправил китель. Провёл ладонью по волосам — жест автоматический, утренний, мирный, жест из того мира, где есть зеркало, бритва, помазок, горячая вода, запах «Кёльниш Вассер», расписание на стене — жест, принадлежащий порядку. Он существовал ради порядка. Ради того, чтобы каждая вещь стояла на своём месте, каждый человек — в своём строю, каждая цифра — в своей колонке. Чтобы содержимое прибывало и убывало, но всегда — учитывалось.

А теперь не сходилось. Ничего не сходилось. Мир оказался мясорубкой, у которой кто-то сорвал резьбу.

Фриц, не глядя на связиста, двинулся к выходу. Вышел на крыльцо.

Львов лежал перед ним — чужой, каменный, равнодушный — город, которому было всё равно, кто в нём хозяин: поляки, немцы, русские, австрийцы, турки — он пережил всех и переживёт этих, и каштаны на бульваре стояли в рыжей, медной листве, и сентябрьское утро было ясным, тёплым, и в этой красоте было что-то непристойное — потому что мир не имел права быть красивым, когда всё рушилось.

По улице двигалась колонна — на запад. Отступление ещё не называлось отступлением: оно называлось «перегруппировкой», «выравниванием», «стратегическим отходом на заранее подготовленные позиции». Но у слов есть предел прочности, как у проволоки, и когда солдат бежит, нет такого слова, которое превратит бегство в марш.

Фриц смотрел на колонну и думал о двух чемоданах.

Хельга, вероятно, уже на вокзале. Или уже в поезде. Или поезда не ходят — линии перерезаны, провода, парашютисты. Нет: на запад, до Штеттина, линии ещё целы. Должны быть целы. Штеттин — это порт. Это север. Это Балтика. Русские — на востоке. Бомбят Шпандау, не Штеттин. Штеттин — в стороне. Штеттин — вне. Штеттин — это...

Расстояние от Львова до Штеттина — восемьсот шестьдесят километров.

Расстояние от мужа до жены — бесконечность.

Он вернулся в здание.

— Бремме!

— Герр унтерштурмфюрер?

— Машину. Горючее. Продовольствие на трое суток. Карту. Мы выезжаем через час. Командировка закончилась.

— Куда, герр унтерштурмфюрер?

Фриц не ответил. Не на восток — там русские. Не на запад — там французы. На север?.. К Хельге. К двум чемоданам у двери квартиры на Шиллерштрассе, если чемоданы ещё не засыпаны штукатуркой, если дверь ещё на месте, если квартира ещё стоит.

Он остался один. Стоял у окна, в форме, которая ещё вчера означала абсолютную власть, а сегодня означала абсолютную мишень. Он снова взял в руку тяжёлую бакелитовую трубку, прижал её к уху. Послушал тишину — долго, внимательно, как врач слушает остановившееся сердце.

И в этом молчании — впервые, едва слышно, на самой границе сознания — шевельнулось то, чему он не знал названия. Не страх — страх он знал, страх был инструментом, рабочим материалом, страх он умел дозировать и учитывать.

Это было другое. Что-то, от чего мир, и без того уже сошедший с рельсов, начал медленно, неостановимо проворачиваться. Как огромная центрифуга. Вращаться, вращаться, пока верх не станет низом, пока солдат не станет беженцем, пока тот, кто составлял списки, сам не превратится в затравленное животное из чужого списка.

Но это будет потом.

А пока — облака. Пока — каштаны. Пока — часовой у ворот, докуривающий сигарету с тем жадным, обречённым сосредоточением, с каким курят люди, подозревающие, что эта сигарета — последняя. Пока — два чемодана, один — детские вещи, второй — документы и зимнее. Пока — семьсот девяносто километров молчащей меди.

Пока — расстояние.

Глава 2. Пыль

Дорога из Львова на север начинается с того, что дороги нет.

То есть она есть — на карте: тонкая красная линия, прочерченная имперским картографом с той же аккуратностью, с какой Фриц Ланг прочерчивал колонки в журнале учёта — линия, соединяющая точку с точкой, Львов с Люблином, Люблин с Варшавой, Варшаву с Данцигом, Данциг со Штеттином — далее, далее, по красным артериям Рейха, который ещё вчера простирался от Рейна до Буга, а сегодня сжимался, как сжимается кулак, из которого вытекает вода, — и красные линии на карте становились тем, чем были всегда: краской на бумаге.

На бумаге — дорога. На земле — месиво.

«Кюбельваген» полз по шоссе, как жук по размокшей газете. За рулём сидел Курт Циммер, ефрейтор из автопарка Ораниенбурга, приданный Фрицу в командировку вместе с машиной — маленький, жилистый, с лицом, вырезанным из корня, — из тех шофёров, которые ведут машину не руками, а позвоночником, чувствуя каждую выбоину как личное оскорбление. Он молчал. Молчал, потому что всё, что можно было сказать, говорила дорога.

Дорога говорила — назад.

Мимо них — навстречу, в сторону Львова, откуда они только что уехали — двигалось то, что три недели назад называлось вермахтом: грузовики с откинутыми бортами, в которых тряслись солдаты с лицами цвета дорожной грязи; мотоциклы, гружённые так, что коляски скребли днищем по камням; конные повозки — конные повозки! — в армии, которая гордилась танками; и

пехота, серо-зелёная, бесконечная, шагающая не в ногу, без строя, без песни — масса, утратившая единственное, что отличает армию от толпы: направление.

— Куда вы? — крикнул Фриц, высунувшись из машины, когда «Кюбельваген» в очередной раз замер, упёршись в пробку.

Лейтенант — молодой, с землистым лицом и глазами, в которых уже погас тот огонёк, который в учебниках называют «боевым духом» — шёл рядом со своими солдатами, пешком — машину, вероятно, бросил, или потерял, или её больше не было.

— На Львов, — сказал лейтенант. — Приказ — удерживать Львов.

— Чей приказ?

Лейтенант посмотрел на Фрица — на чёрную форму, на руны в петлицах, на мёртвую голову на фуражке, — и в этом взгляде было то выражение, с которым полевые офицеры смотрели на людей из СС: как смотрят на крысу, нашедшую сыр.

— Приказ, — повторил он и пошёл дальше.

Чей приказ — он не знал. Никто не знал. Приказы рождались из пустоты — из слухов, из обрывков последних радиogramм, из слов, сказанных кем-то кому-то час или сутки назад, — и каждый противоречил другому, и все вместе они противоречили реальности, а реальность противоречила самой себе.

А по обочинам текло другое.

Справа, толкая перед собой тележки с перинами и кастрюлями, шли те, кто бежал от немцев на восток. Слева, кутаясь в платки, брели те, кто теперь бежал от русских на запад. Встречные, трущиеся друг о друга потоки паники.

Евреи и цыгане шли в одной пыли с поляками, плечом к плечу, и это было неправильно — не потому что шли, а потому что вместе. В том каллиграфически безупречном мире, который строил Фриц, эти потоки не могли пересекаться. Но расчерченный мир кончился. Остался мир нерасчерченный, где все спасались по одной обочине.

— В октябре всё было иначе, герр унтерштурмфюрер, — вдруг сказал Циммер, не отрывая взгляда от грязного ветрового стекла. — Почти год назад...

Он крутанул руль, объезжая дохлую лошадь с раздутым, как барабан, животом.

— Когда мы входили в Судеты, пыли не было. Там, в Карлсбаде, они стояли вдоль дорог. Девушки бросали нам на броню астры. Осень была тёплой, и эти цветы... они пахли духами, мокрым асфальтом, праздником. Мы ехали по Европе, как боги, герр Ланг. А теперь... Мне девушка бросила — белую — прямо в кабину. Я её засушил. Жене хотел отвезти.

Он замолчал.

— Отвёз? — спросил Бремме сзади.

— Потерял. Между Прагой и Бреслау. Выпал из кармана. Или я его выбросил. Не помню.

Циммер сплюнул в приоткрытое окно.

— А теперь мы едем по выгребной яме. И никто не знает, в какую сторону из неё выбирать.

Фриц промолчал. Слова водителя отскакивали от него, не причиняя вреда, потому что внутри Фрица работала другая механика. На его коленях лежал коричневый кожаный портфель с монограммой *KL*. И внутри этой лесной, первобытной паники портфель оставался последним островком высшего, кристального разума. Там лежала папка с грифом «Geheime Reichssache».

Его командировка во Львов, в этот плавильный котёл национальностей, не была инспекцией. Ораниенбург столкнулся с кризисом, который Фриц, как хороший управленец, должен был разрешить. Аресты «асоциальных элементов» шли по графику, но система давала сбой на выходе: старики, больные, истощённые не могли работать. Они занимали место. Они потребляли брюквенную баланду. Они были убылью без прибыли, строкой в бюджете, которая не сходилась.

Стрелять их было нерентабельно. Пуля — это латунь, это порох, это логистика и человеческий фактор. Экономика смерти требовала изящества.

Именно поэтому Берлин отправил его на Восток. Здесь, в Галиции, где местное население с радостью готово было взять на себя часть грязной работы, где антисемитизм впитывался с материнским молоком, Фриц Ланг искал новое решение. Он проводил встречи. Он чертил схемы. что делать с теми, кто не может работать?

Он был в шаге от чистого, почти математического озарения. Он уже видел контуры больших, светлых помещений с душевыми лейками под потолком, где проблема решалась бы гигиенично и без расхода цветных металлов.

Но русские десантники и французские танки превратили его чертежи будущего в макулатуру. Его идеальный Рейх, где он был бы Архитектором Чистоты, рухнул, оставив его в пыли, бегущим на север, к жене.

— Циммер, — сухо приказал Фриц. — Сворачивай. Просёлок. Любой.

— Но герр унтерштурмфюрер, это не по карте...

— Сворачивай. Нам нужно прочистить фильтры и попытаться поймать волну. В этом месиве мы до ночи не проедем и двадцати километров.

«Кюбельваген» вильнул, перевалился через канаву и, сминая сухой татарник, съехал с имперского шоссе. Густой, ревущий шум беженцев начал стихать, затягиваться жёлтой листвой, пока не превратился в глухой, отдалённый гул океана.

Они остановились через два километра, у старой каменной ограды. Мотор чихнул и замолк. Наступила тишина — та самая, оглушительная тишина сентября тридцать девятого года, в которой ещё можно было услышать, как падает жёлудь, хотя в двадцати милях отсюда уже падали фугасы. Тишина паузы. Тишина между выдохом и вдохом.

Бремме, связист, тут же выскочил из машины, бережно, как младенца, вынес рацию на капот и закинул тонкий провод антенны на ветку дуба. Циммер открыл багажник, доставая жестяные банки с тушёнкой и хлеб. Фриц вышел из машины, разминая затёкшие ноги. Он достал сигарету. Вытер руки платком — аккуратно, палец за пальцем. Жест из того мира, где после каждого документа нужно было мыть руки.

Он закурил. Дым смешался с запахом прелой листвы.

И тут из подлеска появилась собака.

Не выбежала — появилась, как появляются вещи в этом расшатанном мире: без предупреждения, без причины. Минуту назад — пустое поле. А теперь — она. Крупная дворняга, грязно-белая, с подпалинами, худая до такой степени, что каждое ребро читалось под кожей, как струна.

Она стояла на границе света и тени. Не лаяла. Не рычала.

Но страшным было не её истощение. Страшными были её соски — набухшие, тёмные, оттянутые к земле. Она была кормящей матерью. Матерью, у которой было много молока, но те, кто должен был его пить, исчезли в воронках этого безумного дня.

Она стояла и смотрела на них. И в её карих, прозрачных глазах не было ни голода, ни мольбы. В них был только один вопрос, старше человеческой речи: *Где? Где мои?*

Циммер замер с открытой банкой.

— Иди сюда, шавка, — тихо позвал он, отламывая кусок жирного мяса и бросая в траву. — На...

Собака даже не повела ухом. Ей не нужно было мясо. Она искала то, что эти люди в серой и чёрной форме забрали у мира самим фактом своего существования.

Фриц смотрел в жёлтые глаза животного. И в этом бессловесном контакте было что-то, от чего горло перехватило спазмом. Потому что он знал этот взгляд. Он видел его на апельплаце в Заксенхаузене, когда из барака выводили

женщин, тех, кого переводили — куда? в другой барак? на другой объект? в другую графу? — и они оборачивались, и глаза их перебежали по шеренге, — и вопрос был тот же, тот же, один и тот же: *Где? Где мои?*

Но тогда этот взгляд был для Фрица просто материалом. Входящим потоком. А сейчас, на этом пустом поле, реальность дрогнула, заскользила, и в жёлтых собачьих глазах Фриц внезапно увидел Хельгу. Увидел жену, стоящую в затопленном берлинском подвале. Хельгу, прижимающую к себе онемевшего Клауса, пока сверху, из равнодушного неба, с воем падает бомба, которой абсолютно всё равно, чьё мясо рвать.

Удар чужой, невыносимой боли прошил его под лопатку. Простая человеческая слабость, от которой он так тщательно лечился годами — строевой подготовкой, уставами, колонками цифр — что-то, чему он не знал названия и знать не хотел — хлынуло в него, как вода в трюм.

— Пошла вон! — хрипло выкрикнул Фриц.

Он шагнул вперёд, выхватив из кобуры тяжёлый люгер. Рука архитектора лагерей, всегда такая твёрдая, мелко, непривычно задрожала. Он наставил ствол на животное, защищаясь от её глаз, от её потери, от своего собственного рухнувшего мира.

— Пошла вон, тварь!

Собака не испугалась. Она посмотрела на пистолет, медленно моргнула и, так же бесшумно повернувшись, растворилась в осеннем лесу, унеся с собой свою тяжёлую, невостробованную любовь.

Фриц стоял, тяжело дыша, сжимая пистолет.

И в эту секунду за его спиной громко, надрывно затрещала рация.

— Герр унтерштурмфюрер... — голос Бремме из-под наушников прозвучал сухо, как ломающийся сухостой. Связист смотрел не на аппарат, а куда-то сквозь капот машины. — На частоте сорок два и три. Открытым текстом. Без шифра.

Фриц медленно опустил люгер, не снимая пальца со спуска.

— Докладывай.

— Кенигсберг передаёт. Растенбург пал. Советские парашютисты захватили штабной поезд.

Бремме сглотнул.

— Фюрер мёртв, герр Ланг. Он застрелился.

Лес вокруг них стоял жёлтый, тихий и абсолютно безучастный. Фриц посмотрел на кусок жирного мяса в траве, на медный провод, перекинутый

через ветку дуба, на свой коричневый портфель с монограммой. Всё кончилось. Мир, расчерченный на колонки, умер.

Он спрятал пистолет в кобуру.

— Сматывай антенну, Бремме. Циммер, заводи. Едем.

— Куда, герр унтерштурмфюрер?

— На север. К морю.

Ему нужно было ехать. На север. К Хельге. К двум собранным чемоданам.

Глава 3. Ферма

Его разбудили прикосновением — пальцы на плече, короткие, жёсткие, пальцы, пахнущие бензином и хлебом, — и Фриц открыл глаза.

Он открыл глаза — и увидел себя.

Он висел.

Он висел в проёме неба, в рамке, составленной из двух почерневших столбов и перекладины — висел, и голова его была неправильной, наклонённой, как наклоняется голова у человека, который прислушивается к чему-то очень тихому, к чему-то, доносящемуся из-под земли. Но он не прислушивался, он не мог прислушиваться, потому что шея была сломана, и из-под верёвки — грубой, пеньковой, такой же, какой вяжут тюки в лагерных мастерских, — из-под верёвки выступал язык. Синий, толстый, непристойный язык, который больше никогда не произнесёт ни приказа, ни рекомендации, ни слова.

А лицо, его лицо, было его лицом: та же линия челюсти, тот же лоб, те же глаза. Но глаза были открыты и смотрели вниз, на него, сидящего в машине — смотрели не с укором, не с жалостью, а с терпением, с бесконечным, минеральным терпением камня, который знает, что всё, рано или поздно, упадёт.

Повешенный покачивался. Верёвка скрипела. Скрип был мерным, ритмичным, как маятник, как метроном, как стук колёс поезда, идущего в одном направлении: скрип-скрип, скрип-скрип, вход-выход, дебет-кредит. И каждый скрип был словом, и слово было одно, и слово было его именем — не тем, которое было написано в справке, не «Вебер», нет, другим, настоящим, тем, которое знала верёвка.

За спиной повешенного было не небо. Забор. Кирпичный, длинный, казённый, и у забора — что-то, чего он не мог разглядеть, и от этого чего-то тянуло запахом — нет, не тем, того ещё не было — но запах уже стоял в воздухе, как стоит гроза за полчаса до первой молнии.

— Герр унтерштурмфюрер.

Пальцы на плече. Бензин и хлеб.

— Герр унтерштурмфюрер, проснитесь.

Фриц моргнул. Моргнул ещё раз. Протёр глаза — костяшками пальцев, жёстко, больно, вдавливая реальность обратно в глазницы.

Повешенного не было.

Перед машиной возвышались ворота. Деревянная арка, потемневшая, покосившаяся, с двумя столбами по бокам. На перекладине когда-то висела вывеска — на ржавых цепях, двух цепях — но правая цепь оборвалась, и вывеска болталась на одной левой. Наклонившись так, как наклоняется сломанная шея. На вывеске — буквы, полустёртые: «...ський хутір». Просто вывеска. Просто ветер. Просто цепь.

Скрип-скрип. Вход-выход.

— Герр унтерштурмфюрер, — Циммер стоял у открытой дверцы. — Здесь ферма. Ворота не заперты. Темнеет. Переночуем?

Фриц посмотрел на небо. Оно было цвета остывающего свинца. Солнце ушло, не попрощавшись, — как уходят из комнаты, где произошло что-то непоправимое. Сентябрьские сумерки напоздали с востока — оттуда, откуда теперь всё напоздало: танки, парашюты, страх.

— Хорошо, — сказал Фриц, вытирая липкий пот со лба. — Заезжай.

Они въехали во двор.

Ферма была из тех, что стоят в Галиции от века до века, переживая империи, как переживает валун ледники: не сопротивляясь, а просто — оставаясь. Длинный белёный дом с соломенной крышей, почерневшей от дождей. Хозяйственные постройки — хлев, сарай, навес для сена — расставленные вокруг двора, как фигуры на шахматной доске, в которой смысл партии давно утрачен, но фигуры остались стоять. Колодец с журавлём. Яблоня — узловатая, старая, с последними яблоками, висящими в сумеречном воздухе, как маленькие жёлтые планеты в космосе, из которого выкачали свет.

Хозяин вышел на крыльцо. В руке он держал керосиновую «летучую мышь».

Ярема — он назвал только имя, без фамилии, как называют себя люди, которым фамилия больше не нужна или не безопасна — был высок, сух, с лицом, выдубленным ветром и горилкой до состояния старой кожи. Глаза — светлые, выцветшие, как выцветает ткань, которую слишком долго держали на солнце, смотрели из-под кустистых бровей без удивления. К нему приехали трое немцев в военной машине, один — в чёрной форме СС, — и он не удивился. Он видел и не такое. Он видел австрийцев, и поляков, и петлюровцев, и красных, и белых — все они приезжали, и все уезжали, а ферма — стояла. Жена его умерла, дети

уехали во Львов, сгинув в тамошнем котле, и теперь он жил здесь один, вместе с немым батраком, которого гости так и не увидели — тот ушёл спать на сеновал.

— Переночевать, — сказал Фриц по-немецки, подкрепляя слова жестами. — Одну ночь.

Ярема кивнул. Он понимал по-немецки — не свободно, не бегло, а так, как понимают язык, на котором с тобой веками разговаривали люди, отдающие приказы: выборочно, интонационно, по тональности угрозы.

— Можно, — ответил он, и голос его был как скрип колодезного журавля: низкий, ржавый, не смазанный разговорами. — Машину за сарай. Нечего светить.

Они сидели в горнице, за столом, который раньше стоял, наверное, на кухне. Фриц запомнит эту горницу — или не запомнит, или запомнит неправильно, как запоминаются вещи, увиденные в состоянии, когда сознание уже начинает отслаиваться от реальности, как обои от сырой стены. Он запомнит отдельные детали, избыточно яркие, как бывают яркие предметы в лихорадке:

Стол — тяжёлый, дубовый, скоблённый добела, с глубокими порезами от ножа — стол, за которым ели, и резали, и месили, и рожали, наверное — стол, впитавший в себя столько жизней, что сам стал живым.

Тарелки — глиняные, грубые, с густой коричневой глазурью цвета прошлогоднего мёда. Четыре тарелки, хотя за столом, кроме хозяина, сидело только двое гостей (Бремме остался в машине дежурить у рации).

Сало — нарезанное толстыми, почти непристойно толстыми ломтями, белое с розовым, розовое с белым. Сало, в котором розовый цвет был не цветом мяса, а цветом заката, застывшего в жире. И в тепле комнаты оно начало слегка потеть мелкими каплями, казалось срезом человеческой плоти, анатомическим препаратом, брошенным на дубовую плаху.

Хлеб — чёрный, плотный, как торф, с коркой, которая хрустела под ножом так громко, что Циммер вздрагивал.

И горилка.

Горилка стояла в бутылке без этикетки, мутная, желтоватая, цвета того неопределённого часа, когда ещё не ясно — рассвет это или отсвет пожара. Ярема разлил её в четыре стопки — глиняные, того же коричневого обжига, что и тарелки. Четыре стопки.

Фриц посмотрел на четвёртую.

— Кто? — спросил он.

Ярема не ответил. Поднял свою стопку, кивнул — не им, а куда-то в угол, где висела тёмная, закопчённая икона, на которой лицо Богоматери было почти

неразличимо, — и выпил. Они выпили следом. Горилка ударила в небо, как ударяет правда: грубо, горячо, без предупреждения. Она пахла жжёными корнями, сырой землёй и полынью.

Ели молча.

Молчание было густым, плотным — молчание людей, которым не о чём говорить, потому что о том, о чём нужно говорить, говорить нельзя. Фриц ел сало, и сало таяло на языке, и вкус его был таким, каким должен быть вкус мира — простым, жирным, настоящим. И он не мог вспомнить, когда в последний раз ел что-то настоящее. В Ораниенбурге? В офицерской столовой, где подавали шницель по расписанию? Но шницель был казённым, нумерованным, из меню, а это сало было — ничьим, ничейным, салом, которое существовало само по себе, без графика, без учёта, без колонок.

— Мы ждали вас, — заговорил наконец Ярема, и голос его шёл откуда-то из глубины, из того места, где горилка встречается с обидой. Он говорил по-немецки медленно, подбирая слова, как тяжёлые камни. — Думали: немцы придут — поляков уберут. Порядок будет. Мы сто лет ждали. Двести. Австрийцы были — ничего. Поляки были — плохо. Думали: немцы придут — будет лучше.

Он замолчал. Налил ещё. Выпил, не закусывая.

— А вы нас — русским отдали. Променяли на что-то. А теперь сами бежите.

Это было сказано не с гневом. С усталостью. С той крестьянской усталостью, которая копится веками и становится не чувством, а ландшафтом: холмы, поля, терпение. Ярема поднял водянистые глаза на Фрица, разглядывая его чёрный мундир.

— Чёрная форма — это цвет смерти, пан офицер. Но когда смерть начинает убегать — это смешно. И страшно. Вам нельзя в этом ехать. Это саван. Русские — под Львовом. Может, уже во Львове. Поляки — озверели. У них теперь оружие. А ваши бегут. У меня есть радио. Последнее, что слышал: русские идут на Варшаву. Ваш главный... с усиками. Он мёртв. Потом — шум. Только шум.

Фриц не ответил. Что он мог ответить? Что Рейх не «отдавал»? Что пакт был стратегическим ходом? Что вермахт наведёт порядок? Слова — все слова — были теперь тем же, чем были красные линии на карте: макулатурой. И Ярема это знал, и Фриц это знал, и знание это лежало между ними на дубовом столе.

— Включи радио, — тихо попросил Фриц.

Ярема встал и вышел в другую комнату. Вернулся с приёмником — старым, деревянным, довоенным, из тех, что похожи на маленькие церкви: полукруглый верх, матерчатая решётка динамика, ручка настройки, жёлтая шкала с названиями городов, которые теперь принадлежали другим странам или не принадлежали никому.

Он поставил приёмник на стол, между тарелками. Включил. Лампы внутри загорелись — тёплым, живым, янтарным светом, похожим на глаза хищника в темноте. Приёмник загудел, разогреваясь, как разогревается горло перед пением.

Потом пошёл шум.

Тот самый шум: треск, шорох, свист — голос атмосферы, голос пространства, в котором все станции замолчали. Ярема крутил ручку, медленно — Варшава, Краков, Берлин, Вена, — и каждый город отвечал одинаково: шумом, пустотой, отсутствием.

Вдруг сквозь этот гул пробился мужской голос. Он говорил быстро, ритмично, далёкий, как будто вещающий со дна колодца. Но слова не складывались в смысл. Это не был ни немецкий, ни польский, ни русский. Это был язык, вывернутый наизнанку, состоящий из шипящих и гортанных звуков, произносимых задом наперёд. Язык, пришедший откуда-то из-за пределов шкалы.

Ярема покрутил ручку. Голос уплыл. На его месте — снова шум.

И тогда зазвучала песня.

Она началась не из приёмника. Она началась из тишины — из того места, где тишина становится такой плотной, что в ней начинают проступать звуки, как проступают лица на иконе, закопчённой столетиями свечей. Женский голос — глубокий, низкий, грудной. Голос, который не пел, а скорее — вспоминал пение, вспоминал мелодию, которую слышал когда-то давно, в другой жизни.

Голос пел а капелла. Без инструментов, без аккомпанемента, без ничего — только голос и пустота, голос и темнота за окном.

Llorando...

Язык был незнакомым — испанский, или ладино, или язык, придуманный этим голосом для этой единственной песни. Слова были не важны. Голос пел горе. Чистое, дистиллированное, абсолютное горе, из которого выпарили всё: имена, даты, обстоятельства. Осталось только то, от чего сжимается что-то внутри, что-то, у чего нет названия, потому что анатомия не знает органа, который болит от чужого пения.

Голос заполнял горницу. Он проникал в глиняные миски, в белое, потеющее сало, в древесину стола. Это была иллюзия — звук, записанный на кусок плёнки, транслируемый из ниоткуда в никуда, *no hay banda*, — но печаль была абсолютно реальной.

Трое мужчин сидели за столом — два немца и один украинец, — и слушали женщину, которая пела по радио, которое не должно было работать, на частоте, которой не должно существовать.

Фрицу показалось, что он снова падает. Что верёвка на шее натягивается. Эта невидимая женщина пела по нему. Слёзы, предательские, горячие слёзы, о которых он забыл со времён детства, подступили к глазам.

Горилка стояла на столе. Никто не наливал, но стопки были полными, все четыре. И Фриц посмотрел на четвертую стопку, стоявшую перед пустым стулом, — и стопка была полной, и стул был пустым, и голос пел.

Ярема перекрестился. Медленно, широко, по-православному — справа налево, наоборот.

Песня кончилась. Шум вернулся. Лампы приёмника мигнули и погасли, хотя никто его не выключал.

Ярема молча разлил горилку. Они молча выпили. Горилка была той же, но вкус изменился: теперь она была горькой, с привкусом той воды, которая стоит на дне колодца, куда никогда не падал свет.

— Спать, — сказал старик. — Утром поедете.

Фриц лежал на лавке в горнице, укрывшись шинелью. Потолок над ним был белёным, низким, с трещиной, которая тянулась от стены до стены, как тянется линия фронта на карте. Он следил за этой трещиной, и она двоилась, расходилась, и в расщелине между двумя линиями, в зазоре между явью и сном, стоял запах.

Запах яблок. Запах сала. Запах дыма из печи. Запах дыма. Он заснул.

Его разбудил Циммер. Рассвет — мутный, молочный, безразличный — сочился сквозь маленькое окно.

— Герр унтерштурмфюрер. Пора. Хозяин дал картошки. И хлеба. И вот, — Циммер показал бутылку. — Горилки. В дорогу.

Фриц сел. Голова была тяжёлой, тупой, как камень, — горилка или сон, или то, что стояло между горилкой и сном. Какая-то щель, в которую он провалился ночью и из которой выбрался не целиком.

Он вышел во двор. Утро было холодным, росным, с той хрустальной резкостью, которая бывает в конце сентября, когда лето уже умерло, но осень ещё не решила, чем быть. «Кюбельваген» стоял за сараем, Бремме уже сидел на заднем сиденье.

Фриц шёл к машине, и тут — краем глаза, на периферии, там, где зрение ещё не зрение, а только намёк — он увидел движение.

За хлевом, на площадке у сенника, человек вилами перекидывал сено.

Батрак.

Человек работал размеренно, привычно, вилы входили в сено и поднимали его, и сено летело. И сено было неправильным. Оно было слишком

ярким. Неестественно, оскорбительно ярким — золотым, сияющим, кислотным, как будто внутри каждой соломинки горела какая-то своя маленькая лампа. Как будто сено было не сеном, а жёлтым светом, принявшим форму сена. И этот свет летел по воздуху, и человек с вилами стоял в этом свете, и Фриц не мог отвести глаз. На мгновение ему показалось, что на вилах не солома, а человеческие волосы.

Человек был среднего роста, крепкий, в простой полотняной рубаше. Лица не было видно — он стоял спиной, но что-то в его фигуре, в повороте плеч, в той педантичной, машинной чёткости, с которой он вгонял зубья вил в солому — было знакомым. Не знакомым — своим. Как бывает своим отражение в зеркале: ты узнаёшь его по тому неповторимому способу, которым твоё тело занимает пространство.

Батрак повернулся.

Лица Фриц не разглядел — слишком мутный утренний свет, но ему показалось, на ту долю секунды, в которую помещается только чистый ужас — что у батрака его лицо.

Фриц моргнул. Морок спал. У сарая стоял обычный старик в грязной рубаше и вяло перекидывал обычную, жухлую, серую осеннюю солому.

Свет померк. Золото исчезло. Просто человек. Просто батрак. Просто сено.

— Герр унтерштурмфюрер? — окликнул Циммер из-за руля. — Едем?

Фриц сел в машину. Дверца захлопнулась. Мотор кашлянул и завёлся.

«Кюбельваген» выехал со двора, проехал под аркой ворот — вывеска по-прежнему болталась на одной цепи, тихо поскрипывая в утреннем воздухе, — и свернул на просёлок.

В зеркале заднего вида ферма, двор, яблоня и фигура человека с вилами, стоящего в сером тумане — уменьшалась, удалялась, пока окончательно не исчезла.

Пока не стала тем, чем становится всё, что остаётся позади: воспоминанием, которое ещё не знает, что оно — приговор.

Глава 4. Дым

Поле открылось внезапно — как открывается рана, когда снимают бинт: одним движением, без предупреждения, без подготовки.

Просёлок вывернул из-за рощи, и рощи не стало, и вместо неё возникло пространство. Плоское, бурое, уходящее к горизонту, — и на этом пространстве, разбросанные с той щедростью, с какой война разбрасывает свои дары, лежали вещи.

Фриц попросил Циммера остановить машину. Они стояли на обочине и смотрели.

Ближе всего — «Кюбельваген», такой же, как их собственный, только вывернутый наизнанку огнём. Кузов — чёрный, скрученный, вздыбленный, как будто железо в последний момент попыталось убежать от жара и застыло в этом порыве, в этой судороге бегства. Чуть дальше — грузовик «Опель-Блиц», опрокинутый набок, и из его кабины торчало рулевое колесо, голое, как скелет часов, из которых вынули механизм. Ещё дальше — танк. Лёгкий Pz.II, машина для парадов и устрашения крестьян. Он стоял посреди поля, и башня его была сорвана и лежала в трёх метрах, повернутая к небу жерлом, как опрокинутая чаша, из которой допили до дна.

Но не это было главным. Главным были лошади.

Они лежали повсюду — десятки, может быть, больше — в тех позах, в которых их застала смерть: на боку, на спине, с вытянутыми ногами, как будто продолжали скакать в каком-то подземном пространстве, куда их утянуло вместе с всадниками. Некоторые были совершенно целыми — светло-гнедые, карачковые, серые в яблоках. Их шкуры ещё блестели утренней росой, гривы шевелил ветер, и можно было подумать, что они просто спят, если бы не вздутые животы. Огромные, тугие, как барабаны, — животы, в которых смерть уже начала свою работу, свою собственную бухгалтерию, свой учёт прихода и расхода.

Местные жители — крестьяне, мужчины и женщины в серых домотканых одеждах — тащили туши к двум кострам, горевшим на дальнем краю поля. Ближе к ним, у леса чернел длинный, свежий шрам братской могилы — туда стаскивали улан. Кто-то воткнул в изножье берёзовый крест, сколоченный из двух жердей, и на поперечине висела фуражка — конфедератка, четырёхугольная, польская, с тусклым орлом. Висела, как висят вещи на вешалке в прихожей, когда хозяин вышел ненадолго.

Фриц посмотрел на конфедератку. Орёл на ней посмотрел на Фрица слепым, штампованным взглядом дешёвого металла.

Фриц подумал: они шли на танки. На конях. С саблями. Они знали, что это бессмысленно. Они знали, что сабля не пробивает броню, что конь не обгоняет снаряд, что кавалерия в тридцать девятом году — это самоубийство, красивая, бесполезная, абсолютно эстетичная смерть.

Но они пошли.

В этом было что-то, чего Фриц не понимал и не хотел понимать. Что-то, что не помещалось ни в одну колонку, ни в одну графу его выверенного мира. Это было противоположностью учёта. Противоположностью расчёта. Противоположностью всего, во что он верил. Они пошли на танки, потому что...

что? Потому что так надо? Потому что родина? Потому что честь? Слова, от которых Фриц обычно испытывал лёгкую, брезгливую иронию — потому что в его мире «родина» была графиком поставок, а «честь» была параграфом устава.

Здесь, на этом поле, рядом с мёртвыми лошадьми и берёзовым крестом, эти слова вдруг обрели ту пугающую плотность, которой у них не было никогда. В этой картине разгрома таилась своя безупречная, математическая завершенность: горячая плоть, бросившая вызов холодному штампованному металлу, — и металл, разорвавший эту плоть, но сам подавившийся ею.

Для розжига костров крестьяне использовали солярку из подбитых грузовиков и автомобильные покрышки. Огонь гудел, жадно пожирая органику и резину. В небо поднимался густой, маслянистый дым, и из него на дорогу падали крупные, жирные хлопья сажи.

Одно такое чёрное перо опустилось на рукав чёрного кителя Фрица Ланга.

Он смотрел на это пятно копоти, и внезапно звук трещащих покрышек начал отдаляться. Чёрный цвет в его глазах потерял свою плотность. Маслянистый хлопок сажи вдруг замедлил свой танец и начал светлеть. На глазах Фрица чёрная копоть превратилась в ослепительно белый, невесомый пепел.

Он падал тихо, торжественно, как первый декабрьский снег. Этот пепел больше не пах соляркой. От него исходил тонкий, пугающе знакомый, сладковатый аромат — запах сгоревшего сахара, миндаля и человеческих волос. Белые хлопья оседали на его фуражке, на плечах, на ветровом стекле «Кюбельвагена». Фриц протянул ладонь. Белая снежинка коснулась его кожи и растаяла, не оставив грязного следа, оставив лишь ощущение абсолютной, хирургической чистоты.

Фриц моргнул. Белый снег исчез. На рукаве снова чернело маслянистое пятно. Он потёр его пальцем — машинально, как трут опечатку на документе, который должен быть безупречным, — и пятно размазалось, но не исчезло.

— Бремме, — сухо сказал он, отряхивая ткань. — Что на частотах?

Связист, сидевший в машине, поднял голову. Его лицо, осунувшееся после ночи, проведённой за прослушиванием пустоты, чуть оживилось.

— Есть кое-что, герр унтерштурмфюрер. На нашей штабной волне. Обрывки, но наши. Немецкая речь. Формат — вермахт. Они где-то рядом. Километров двадцать-тридцать к западу. Может, ближе.

— Нам надо на трассу, герр унтерштурмфюрер, — сказал Циммер из-за руля. — Бензина — две канистры. Это километров сто. А до Штеттина — как до Луны.

Фриц в последний раз посмотрел на поле. На дым, на костры, на конфедератку.

— Едем. Найдём наших.

Они нашли их через час.

Колонна стояла на обочине шоссе. Точнее — не стояла, а лежала, как лежит раненое животное, которое ещё не умерло, но уже перестало сопротивляться. Крестьянские, реквизированные повозки с нарисованными мелом белыми крестами на бортах. В них были запряжены лошади, настолько измученные, что они не поднимали голов. На телегах сидели солдаты, и эти солдаты были — другими.

Фриц видел отступающих вчера: те были толпой, стадом, массой, утратившей форму. Эти — форму сохранили. Не в смысле порядка и строя, а в том смысле, в каком сохраняет форму обломок, отколовшийся от статуи: он больше не статуя, но по линии скола видно, частью чего он был.

Обер-лейтенант — фамилии Фриц не запомнил, или запомнил, но потом потерял, — сидел на подножке санитарного «Опея». Он курил и смотрел на небо с тем выражением, с каким смотрят на потолок в приёмной зубного врача: без надежды, без страха, с тупым ожиданием боли.

— Русские, — глухо сказал он, когда Фриц представился. — Под Замостьем. Рота быстрых танков и пехота. Мы потеряли всю технику. Все бронемашины. — Он усмехнулся, и усмешка была трещиной в сухой глине. — Зато бензина — хоть залейся. Мёртвым танкам горючее не нужно.

Он кивнул в сторону грузовика с брезентовым верхом. Фриц увидел канистры. Ровные, зелёные, штабелированные. Канистры, которые должны были кормить железные гусеницы, а теперь кормили только пустоту.

— Берите сколько нужно, — сказал обер-лейтенант. — Лошадей бензином не заправишь.

Циммер уже тащил канистры к «Кюбельвагену» — быстро, жадно, с тем голодным проворством, с каким водители обращаются с топливом, когда оно превращается в драгоценность.

— Куда вы? — спросил Фриц.

— На запад. Домой, — офицер затаился. — А вы?

— На север. На Штеттин.

Обер-лейтенант посмотрел на него — долго, внимательно, как смотрят на человека, который произнёс нечто непоправимо глупое.

— На север нельзя, Ланг. Красная армия в Восточной Пруссии. Танковые клинья. Десант под Данцигом. Растенбург — вы слышали?

— Слышали.

— Тогда вы знаете. Вся Пруссия — котёл. Через Варшаву не проехать. Вы покойник, если поедете на север. Там теперь только русские и Балтийское море.

Он докурил. Бросил окурочок. Растоптал — тщательно, как будто это был последний окурочок на земле и его нужно было уничтожить до последней нитки табака.

— И ещё, унтерштурмфюрер, — он понизил голос, хотя вокруг не было никого, кроме раненых, спящих на соломе. — Вашу форму — снимите. На дорогах поляки. Они вчера расстреляли патруль фельджандармерии под Тарнувом. Всех. И повесили — вниз головой. На фонарных столбах. Если увидят руны, — он кивнул на петлицы Фрица. — Не будут спрашивать документы. Просто вздёрнут.

Фриц кивнул. Ничего не сказал.

Канистры были погружены. Циммер завёл мотор. «Кюбельваген» тронулся и поехал по шоссе на запад, мимо колонны, мимо повозок, мимо лошадей с опущенными головами. Фриц смотрел на раненых, на их побуревшие бинты, на руки, свисающие с бортов телег. И каждая рука покачивалась в такт движению, и покачивание было мерным, ритмичным, как маятник. Скрип-скрип. Вход-выход.

Они отъехали от колонны километра на два. Шоссе было пустым. Небо — пустым.

И тогда появился звук.

Сначала далёкий, на пределе слышимости. Гул, похожий на гул пчелиного роя, на гул высоковольтных проводов, на гул крови в ушах, когда сердце бьётся слишком быстро. Гул нарастал. Приближался. Он заполнил всё небо, от горизонта до горизонта. Фриц обернулся и увидел их.

Самолёты.

Они шли низко, тройками. Тупоносые, двухмоторные, с красными звёздами на крыльях. Шли ровно, уверенно, с той механической неотвратимостью, с какой движется конвейер, не знающий сомнений. И шли они не к «Кюбельвагену», не к пустому шоссе — они заходили на ту самую колонну повозок с крестами, которую Фриц только что оставил.

— Тормози! — рывкнул Циммер. — С дороги!

Он выкрутил руль с хрустом, и «Кюбельваген» слетел с асфальта, пропахал канаву, перескочил через насыпь и влетел в лесополосу. Ветки хлестнули по ветровому стеклу. Мотор заглох.

Наступила тишина. А потом — не тишина.

Потом был грохот. Тяжёлый, утробный, который чувствуешь не ушами, а диафрагмой, животом, тем местом, где живёт страх. Грохот бомб, рвущих землю, рвущих повозки, рвущих лошадей — тех самых лошадей, которые только что стояли на обочине с опущенными головами. Фриц, прижавшийся к земле, лицом в траву, лицом в чернозём, слышал всё: глухие удары, крики и ржание. Ржание лошадей, которое было не ржанием, а воплем, и вопль этот был человеческим, хотя исходил не от людей.

Снова наступила тишина. Звенящая.

Фриц поднял голову. Бремме лежал рядом, обняв рацию, как ребёнок обнимает подушку во время грозы. Циммер сидел в машине, вцепившись в баранку побелевшими пальцами.

Там, позади, где пятнадцать минут назад стояла колонна, поднимался дым. Чёрный. С чёрными хлопьями. Тот же дым, что и на поле с кавалерией, но теперь к нему примешивался другой запах — запах, от которого Фриц отвернулся. Тот самый бензин, который обер-лейтенант предлагал забрать, стал его погребальным костром.

Фриц не стал смотреть. В нём не было жалости. Было лишь холодное, отстранённое понимание: машина, частью которой он был, уничтожается машиной более совершенной.

— Это «Катюшки», — сказал Бремме. Голос его был ровным, мёртвым, голосом человека, который говорит только для того, чтобы не закричать.

— Что? — Циммер не отрывал взгляда от дыма.

— «Катюшки». Так их называли наши лётчики в Испании. Фронтовой бомбардировщик СБ. Туполев. Они быстрее наших истребителей. От них не уйти. Русское женское имя.

— Женское имя, — повторил Циммер, и в голосе его была та пустота, в которой слова перестают что-либо значить.

Фриц Ланг молчал.

Он смотрел на чёрный, сальный дым, поднимающийся над шоссе. И в голове его снова возник другой дым. Белый, ровный, методичный. Два дыма, чёрный и белый, смешивались, и граница между ними истончалась. Пепел нуждался в очаге. Ему нужно было место, где Фриц мог бы стать тем, кем был предназначен стать.

Он молчал долго. Минуту. Две. Потом он поправил воротник кителя.

— Заводите машину, Циммер.

— Куда едем, герр Ланг?

— В Верхнюю Силезию. Мимо Кракова.

Его пальцы перестали дрожать.

— На Освенцим, — добавил Фриц. — Там есть старые австрийские казармы. Железнодорожный узел. Туда они не дойдут. Там есть наши.

Он произнёс это название так, как произносят имя единственного святого, который ещё способен услышать молитву.

«Кюбельваген» выбрался из лесополосы, выехал на шоссе и повернул на запад. Позади — дым. Впереди — дорога. И дорога вела в Освенцим.

Глава 5. Синее платье

Освенцим открылся им после полудня — тихо, без предупреждения, как открывается страница книги, к которой ты ещё не готов.

Маленький город в Верхней Силезии, на реке Сола, при впадении в Вислу. Черепичные крыши, шпиль костёла, дымки из труб, платаны вдоль набережной. Городок, каких в Силезии десятки: немецкий и польский одновременно, принадлежащий всем и никому. Городок, который мог бы быть открыткой, декорацией к рождественской сказке, мог бы быть — чем угодно.

Сентябрьское солнце — позднее, низкое, почти горизонтальное — лежало на крышах медовым лаком. Было тепло. Неправильно, невозможно тепло для конца сентября. Так бывает в последний день перед заморозками, когда природа, зная, что завтра наступит ледник, отдаёт весь недоданный жар разом, щедро, расточительно, как отдаёт деньги человек, которому они больше не понадобятся.

«Кюбельваген» катился по дороге, ведущей к окраине. Казармы — старые, австрийские, красного кирпича, построенные ещё при Франце-Иосифе для кавалерийского полка, — стояли на отшибе, за рекой. Но до казарм был ещё квартал, ещё поворот, и ещё...

Дом.

Он стоял справа от дороги, за невысокой, аккуратной оградой из светлого штакетника. Белый дом — небольшой, двухэтажный, с зелёными ставнями и черепичной крышей тёплого, терракотового цвета. Перед домом был сад. Ухоженный с той тщательностью, которая выдаёт не наёмного садовника, а хозяйку: клумбы прополоты, розовые кусты подрезаны, дорожки посыпаны мелким гравием, и гравий этот был чистым, светлым, как будто его мыли вручную. На верёвке между двумя яблонями сушилось бельё — крахмальное, колышущееся на лёгком ветру, как маленькие флаги капитуляции, с которой никто не согласился.

Фриц смотрел на этот дом, и что-то внутри него — не в голове, а ниже, в том месте, где живут вещи, не имеющие названия, — сдвинулось, как сдвигается стрелка компаса, когда рядом оказывается магнит.

В саду была женщина.

Она сидела на скамейке у клумбы, и рядом с ней суетились дети: двое мальчиков и девочка лет пяти. Их голоса доносились сквозь открытое окно машины — тонкие, светлые, как стеклянные колокольчики. Голоса детей, играющих в саду в последний тёплый день сентября. Женщина была в простом, строгом платье.

Синем — цвета верности, как говорила одна из клиенток портного Гольдштейна. Нет, портного ещё не было, Гольдштейна ещё не было, Ганновер ещё не наступил. Платье было синим, с белым воротничком, и сидело на ней так, как сидят платья на женщинах, которые знают, что их тело — не предмет, а — дом. Сидело легко, свободно. Белый воротничок лежал на загорелых ключицах, ветер чуть шевелил подол. Женщина смеялась, и смех её был — или Фрицу показалось, что он был — смехом Хельги.

Женщина поймала девочку, подняла её на руки, прижала к себе, и в этом движении, в этой залитой солнцем сцене, в летящем детском смехе была заключена такая невыносимая, щемящая, хрупкая красота, что Фриц перестал дышать.

«Кюбельваген» проехал мимо.

Фриц обернулся. Дом, сад, женщина, дети — всё это осталось позади, уменьшаясь, — и он смотрел, и думал: когда-нибудь. Когда-нибудь — такой дом. С зелёными ставнями. С яблонями. Хельга в саду. Клаус уже большой, десять, двенадцать. Дитер бегают. И, может быть, третий. Или третья. Может быть, четверо. Дом, в котором всё правильно. Дом, в котором можно, наконец, перестать считать, учитывать, подшивать, — и просто жить.

Когда-нибудь. После. После чего?

Казармы оказались именно тем, чем Фриц их себе представлял: кирпичные, длинные, с заросшим травой плацем. Казармы, которые строили для одной империи, использовала другая, а теперь в них располагались люди, не принадлежащие ни одной. Два взвода эсэсовцев — остатки охранного подразделения, переброшенного сюда из Каттовиц после начала хаоса.

Бремме и Циммер, серые от пыли и усталости, ушли в столовую спать. Фриц направился к Людвигу Кляйну.

Гауптштурмфюрер Людвиг Кляйн, тридцати четырёх лет. Они служили вместе пять лет назад, в частях «Мёртвая голова», в Дахау, когда Дахау был ещё образцовым, витринным лагерем, который показывали иностранным журналистам. Кляйн был из тех, кто искренне верил, что лагерь — это школа, что заключённые — это ученики, а дисциплина — это любовь. Вера эта с годами не ослабла, а лишь затвердела, как глина в печи.

Они сидели в комнате Кляйна — маленькой, казённой, с железной койкой и портретом фюрера на стене. На портрет кто-то уже успел накинуть чёрную траурную ленту. Людвиг, постаревший, выпотрошенный, с расстёгнутым воротом кителя, курил, стряхивая пепел в банку из-под консервов.

— Геринг, — буднично сказал Кляйн, наливая Фрицу ячменный кофе. — Геринг взял на себя командование. Заперся в Берлине и готовит город к обороне. Формирует «Фольксштурм». Ополчение — мальчишки, старики. Русские прорываются. Французы — за Рейном. Англичане бомбят каждую ночь.

Он сказал это так, как говорят расписание поездов: ровно, бесстрастно.

— Англичане бомбят каждую ночь. Всё кончено, Фриц.

Людвиг глубоко затаился и посмотрел на коричневый кожаный портфель, стоящий у ножки стула.

— А как твой проект? Твоя великая гигиена Рейха? Ты его ещё таскаешь с собой?

Фриц посмотрел на портфель. Медная застёжка. Тиснение *KL*.

— Здесь. Документация. Чертежи. Если мы остановим Советы... если будет перемирие... проблема ведь никуда не исчезнет.

Кляйн покачал головой — медленно, с тем тяжёлым, бычьим движением, которое заменяло ему вздох.

— Сожги, — сказал он, с садистским нажимом вминая окурок в жечь. — Всё, что в этой папке, сожги сегодня ночью. Гриф, номера, подписи. И будь готов снять форму, Фриц. Не завтра — сейчас. Имей под рукой гражданское. Скоро за эти руны нас будут вешать на столбах не только поляки, но и собственные бауэры.

Фриц молчал. Ячменный кофе остывал в жестяной кружке.

— Хельга, — сказал он наконец. — Я звонил ей. Она хотела уехать в Штеттин. Или остаться в Берлине. Я должен её найти. Я поеду на север.

Кляйн посмотрел на него. В этом взгляде не было жалости — только тот холодный, профессиональный расчёт, которым они оба владели в совершенстве: вероятности, варианты, исходы.

— Телефонной связи с Берлином нет неделю. Англичане днём и русские ночью превращают любую узловую станцию в лунный пейзаж. Поезда на север больше не ходят. Всё, что движется по рельсам — мишень. Твоя жена вряд ли смогла выбраться.

Он не договорил. В этом не было нужды.

— Если пойдёшь на север — пойдёшь прямо в мясорубку, — продолжил Кляйн. — Держись южнее. Подальше от автобанов и военных колонн. Иди как беженец. Это твой единственный шанс. Один. Без формы. И без портфеля.

Они допили суррогат. Кляйн встал, подошёл к окну, посмотрел на плац.

— Знаешь, — сказал он, не оборачиваясь, — иногда я думаю: а что, если мы всё это строили — для себя? Бараки, проволоку, вышки. Что, если это не для них. Что, если это для нас. И мы просто не знали.

Фриц не ответил. Есть вещи, которые лучше не понимать. Есть фразы, которые лучше не слышать.

Ночью Фриц не спал. Он лежал на койке, под казённым одеялом, и слушал, как за окном шумит ветер в тополях — шум, похожий на шум моря, которого он никогда не видел. Потолок над ним был серым, бетонным, без трещин. Он думал о белом доме. О зелёных ставнях. О женщине в синем платье и трёх детях. О жизни, которая — когда-нибудь.

Портфель стоял у койки. Он не сжёг его. Не мог. Не потому что папка имела ценность — папка была мертва, как мертва карта несуществующей страны. Но сжечь её — значило признать, что Архитектор остался без здания. Что всё зря.

Утром, ранним, мутным, пахнущим речным туманом, в дверь постучали. На пороге стоял Кляйн. В руке — конверт.

— Вот, — сказал он, бросая конверт на тумбочку. — Документы. Кенкарта и продовольственный пропуск. На имя Ганса Вебера, торгового представителя из Бремена. Протестант. Не служил. Сорок один год. Рост, цвет глаз — твои.

Фриц взял дешёвую, тиснёную бумагу.

— Кто он?

— Торговец. Коммунист или сочувствующий. Задержали в начале сентября на дороге из Каттовиц во время зачистки.

— И где он сейчас?

Кляйн помолчал. Его взгляд стал тяжёлым, пустым.

— Сейчас не до процедур, Фриц. Он там, где ему больше не нужны документы. А тебе нужны. Одежду, думаю, найдёшь сам. На дорогах сейчас есть всё. Брошенные чемоданы, брошенные жизни. Выбирай любую. Мы уходим через час, взрываем корпуса и отступаем к Чехии.

Он повернулся к двери и остановился.

— Фриц. Сожги портфель.

Дверь закрылась.

Фриц остался один, держа в руках жизнь человека, которого больше не было. Жизнь, которая теперь принадлежала ему. Ганс Вебер. Бремен. Не служил.

Они выехали рано. Утро было холодным, сырым — первое по-настоящему осеннее утро. Солнце не появилось, небо было свинцовым, низким, давящим. Оно не обещало ничего.

«Кюбельваген» выехал из ворот казарм и покатился мимо тополей, мимо моста, мимо черепичных крыш. Город был тем же, что и вчера, но свет был другим, и в другом свете город казался другим. Как бывает другим лицо человека, когда он перестаёт улыбаться.

Дом. Белый дом с зелёными ставнями. Штакетник. Яблони.

Она стояла в саду. Та же женщина. Но — другая. Вчера она смеялась, и смех её был медовым, щедрым. Сегодня детей не было. Сад стоял каким-то мёртвым, замершим в ожидании зимы. Она стояла одна.

На ней было то же синее платье с белым воротничком, но теперь поверх него было накинуто пальто. Тёмно-коричневое, мешковатое, грубое, явно мужское, с чужого плеча. Пальто, которое висело на её тонких плечах так, как висело бы на вешалке. Она надела его не потому, что было холодно — хотя было холодно, — а потому, что синее платье больше не защищало. Вчера был сад, солнце и мир, в котором белый воротничок был достаточной бронёй против всего. А сегодня нужна была грубая суконная ткань.

«Кюбельваген» замедлил ход на разбитой дороге. Женщина подняла голову. Её взгляд встретился со взглядом Фрица.

Прямо в глаза. Через штакетник, через ветровое стекло.

В её глазах не было страха — страх подвижен, страх кричит и прячется. В них была обречённость. Обречённость неподвижна. Она стояла в саду, в чужом пальто, и смотрела на проезжающую машину с чёрной формой внутри. Она смотрела так, словно знала: эта машина, или другая, или третья — вернётся. И тогда пальто не поможет. И синее платье не поможет. Ничего не поможет.

А рядом с обречённостью была ненависть. Тихая, ледяная ненависть человека, который знает, что она бесполезна, но позволяет её себе — глазами, этим единственным оружием, которое нельзя отнять. И рядом с ненавистью — невообразимая, бездонная печаль.

Она смотрела на него так, словно знала всё, что лежало в его коричневом портфеле.

И этот взгляд пробил его насквозь. Фриц не выдержал. Он отвернулся первым, сцепив челюсти так, что заныли суставы.

— Гони, Циммер, — хрипло бросил он, глядя прямо перед собой. — На запад. Гони.

В кармане кителя лежал конверт с документами торгового представителя из Бремена. На заднем сиденье молчал Бремме. За рулём сидел Циммер. Впереди была дорога — к Хельге, к двум чемоданам, к детям. Но компас внутри был сломан.

А позади оставался Освенцим. Белый дом. И женщина в синем платье.

«Кюбельваген» уезжал, и город уменьшался в зеркале заднего вида, уменьшался, — пока не стал точкой.

Пока не исчез.

Но он не исчез.

Глава 6. Мандала

Дорога на Бреслау была подобна вскрытой артерии, по которой кровь больше не текла в одном направлении, а выплёскивалась наружу рваными, хаотичными толчками.

Отлаженная, безупречная машина Рейха, чьей симметрией Фриц Ланг когда-то тайно восхищался, распалась на атомы. Хаос, однако, имел свою систему, свою извращённую бухгалтерию. Советские десантники и диверсионные группы, сброшенные с неба, сработали как смертельный вирус, перерезав провода и взорвав мосты. И каждый перерезанный провод породил десять слухов, каждый слух породил сто приказов, а каждый приказ противоречил предыдущему. Немецкая армия, созданная только для того, чтобы двигаться вперёд — машина, не имеющая задней передачи — теперь вращалась на месте, как слепой зверь, потерявший запах.

«Кюбельваген» маневрировал в этом потоке распадающейся плоти и грязного сукна, пробираясь на северо-запад. Фриц сидел на переднем сиденье и смотрел на дорогу, и прямая успокаивала его, как успокаивает линейка, как успокаивает чертёж, как успокаивает любая вещь, в которой нет кривизны. Ещё сто километров. За Бреслау — Лигниц. За Лигницем — Коттбус. За Коттбусом — Берлин. Хельга. Дети.

Спустя два часа пути горизонт заговорил.

Канонада началась не как событие, а как звук: низкий, далёкий, на пределе слышимости. Звук дробил воздух, заставляя вибрировать стрелки на приборной панели. Впереди, над линией дороги, стремительно поднимался дым. Не чёрный и не белый. Серый. Пыльный, будничным дым боя, в котором смешались порох, бензин, земля и человеческое мясо, дым, не имеющий цвета, потому что цвет — это роскошь, а бой — это экономия, и в бою всё сгорает до одинаковой, неразличимой серости.

— Там бой, герр унтерштурмфюрер, — голос Циммера был сухим и натянутым. — Трасса перерезана.

— Сворачивай направо, — приказал Фриц, холодно оценив геометрию дыма. — На просёлок. Обойдём по дуге.

Циммер выкрутил баранку, и машина съехала с прусского шоссе на грунтовку, ведущую в сторону от канонады. В сторону от дыма. В сторону от боя.

Просёлочная дорога нырнула в лес. Деревья стояли плотной стеной, их ветви сплетались над головой, образуя сумрачный, зелёный туннель, где солнечный свет падал на землю резкими, косыми лезвиями. Эти пятна на дороге шевелились, и сама земля казалась живой, дышащей, как шкура зверя.

Здесь царила тишина. Но это была не та благостная, золотая тишина осеннего сада, которую Фриц видел вчера в Освенциме. Это была тишина затаившего дыхание хищника. Тишина секунды между вдохом, и не вдохом. Между ещё, и уже.

Засада не имеет прелюдии. Смерть, когда она приходит из-за деревьев, лишена театральности; она абсолютно функциональна и потому пугающе красива в своей внезапности.

Всё произошло в долю секунды, но для Фрица Ланга время вдруг утратило свою текучесть. Время стало стеклом, и стекло разбилось.

Сначала был не звук. Сначала был удар — сухой, хлесткий щелчок самого лопающегося триплекса. Лобовое стекло перед лицом Фрица перестало быть прозрачной преградой. Звук пришёл позже.

Стекло не просто треснуло. Оно зацвело. Пули, прошившие его, оставили в нём идеальные круглые отверстия, от которых во все стороны, со скоростью мысли, брызнула ослепительно-белая, морозная паутина трещин. На одно неуловимое мгновение стекло превратилось в изысканную хрустальную мандалу, в замороженный цветок абсолютного насилия. А затем этот цветок взорвался.

Миллионы стеклянных брызг, сверкающих в лучах пробивающегося сквозь кроны солнца, хлынули в кабину ливнем алмазной пыли. Они летели медленно, неестественно величественно, как летит снег, как летит пепел, оседая на чёрном сукне кителя и на коже лица.

Фриц повернул голову налево.

Циммер больше не принадлежал миру живой, осмысленной геометрии. Невидимая сила ударила его в грудь. Тело водителя неестественно, кукольно откинулось назад, вдавившись в спинку сиденья. Его руки оторвались от руля, взмыв вверх в жесте античной мольбы. На секунду он замер в этой позе — человек, распятый скоростью пули, с детским, чистым удивлением в открытых глазах.

А затем физика взяла своё. Жизнь покинула тело Циммера быстрее, чем воздух покидает проколотую шину. Мускулы утратили напряжение, и он тяжело, безвольно рухнул вперёд, навалившись грудью на рулевое колесо.

Тишину леса разорвал гудок.

Машина дёрнулась, съехала с колеи и с глухим хрустом уткнулась бампером в ствол старой сосны. Заглохший мотор чихнул в последний раз. Клаксон, придавленный мёртвым телом водителя, продолжал выть — монотонно, надрывно, словно это не кусок железа, а раненое животное кричало о своей гибели. Сзади, на пассажирском сиденье, кто-то влажно и хрипло дышал.

Фриц сидел неподвижно. Он не чувствовал боли. Боль требует осознания, а его сознание сейчас сузилось до размеров одной точки.

Он почувствовал лишь тепло. Что-то густое, маслянистое и невыносимо липкое текло по его щеке, затекая за воротник, пропитывая шёлк. Он приоткрыл губы, чтобы сделать вдох, и на язык опустилась тяжёлая, солоноватая капля.

Вкус был безошибочным. Это был первобытный, чистый вкус железа. Вкус старых монет, забытых на дне кармана. Вкус ржавчины. Вкус той самой красной жидкости, которую он годами переводил в сухие колонки статистики, но которая теперь, по какой-то нелепой ошибке, оказалась его собственной.

Мир начал терять свои очертания. Золотой свет, пробивавшийся сквозь деревья, потускнел, сменившись сепией, а затем края зрения стремительно заволокла густая, бархатная тьма. Лес, разбитое стекло, Циммер на руле — всё это складывалось, как закрывается прочитанная папка. Страница к странице. Последнее, что Фриц увидел, была его собственная рука, поднятая к лицу. Красная ладонь, которая всегда была такой чистой.

Тьма стала абсолютной. Но слух ещё цеплялся за реальность.

Сквозь непрерывный, давящий вой клаксона Фриц услышал хруст веток. Шаги. Тяжёлые сапоги, ступающие по осенней листве. Их было несколько. Они приближались.

Фриц ждал чужой речи. Он ждал русских, поляков, французских парашютистов. Он ждал конца. Но голос, раздавшийся совсем рядом, над самым ухом, был немецким. Жёстким, лающим, с характерным прусским выговором. Голосом человека, привыкшего отдавать приказы.

— Nicht schießen! (*Не стрелять!*) — скомандовал невидимый человек.

Хрустнуло стекло под сапогом. Кто-то подошёл к левой дверце. Раздался глухой удар, затем шорох ткани — мёртвого Циммера грубо сдёрнули с руля. Вой клаксона захлебнулся и смолк. И в наступившей тишине — в той тишине, которая приходит после, всегда после, Фриц услышал:

— Der Fahrer ist tot. Der Funker lebt. (*Водитель мёртв. Радист жив*) — произнёс второй голос, молодой и равнодушный.

Затем чьи-то руки в жёстких кожаных перчатках схватили Фрица за отвороты кителя. Запах табака, ремней и чужого пота ударил в ноздри.

— Den hier... den Offizier. Den Funker auch. Ab nach Breslau! (*Этого... офицера. И радиста тоже. Живо в Бреслау!*)

Руки дёрнули его на себя. Голова Фрица безвольно мотнулась, и на этом мир для него окончательно перестал существовать. Остался только вкус железа и слово «Бреслау», эхом затихающее в пустоте.

Глава 7. Куколка

Темнота имела вес.

Она лежала на нём — плотная, влажная, шерстяная, — темнота, которую можно было потрогать, если бы руки слушались, если бы руки были, если бы он помнил, что такое руки. Темнота пахла эфиром, йодом, потом и чем-то кислым, госпитальным, — запахом места, где тело перестаёт принадлежать тебе и становится предметом, объектом, вещью на столе, и кто-то — кто? — трогал эту вещь, и вещь не возражала.

Пальцы. Чужие пальцы. Они расстёгивали — что? — пуговицы, крючки, ремень, они снимали — что? — кожу, оболочку, хитин, — они сдирали, стягивали, тянули, и где-то над ним, в тёплом, жёлтом, ламповом тумане, каркали голоса — не слова, а звуки, осколки слов, немецкие, но далёкие, как из-под толщи мутной воды:

— ...Schneid den Ärmel auf... ruhig... halt ihn... (*...Разрежьте рукав... спокойно... подержите его...*)

И Фриц чувствовал, как с него сходит — нет, не форма, не китель, не сукно, — с него сходил он сам. Слой за слоем. Чин за чином. Имя за именем. Петлица — как отодранная чешуйка. Фуражка — как сброшенный черепной свод. Сапоги — как сброшенные копыта. Воротник отдирали от раны, и рана дышала, и воздух — холодный, спиртовой, враждебный — входил в его мягкую, неготовую, пульсирующую плоть, и плоть отзывалась болью, но боль была чужой, далёкой, — болела не его кожа, болел кокон, — и под всем этим — под чёрным сукном, под ремнями, под кожей, под коконом — под всем этим было — что?

Куколка.

Мягкая, бледная, безногая, слепая, — существо, которое ещё не стало тем, чем станет, — существо, состоящее из чистой возможности и чистой беспомощности, — существо, в котором крылья уже есть, но ещё свёрнуты, ещё не расправлены, ещё не знают зачем. Она ждала. Ждала своего превращения.

Но кто-то вскрыл её раньше срока, и она лежала — голая, ободранная, с сукровицей на лобной кости, — и превращение шло, но не туда. Не туда.

— ...осколки... лобная кость... давление падает...

Голос. Другой голос — тоньше, моложе, ближе. Бремме? Бремме, живой, — бормочущий что-то рядом, из-за стены, или из-за занавески, или изнутри, из той же темноты, из того же кокона:

— ...Фриц... герр... слышите...

Слышу. Слышу, Бремме. Но ты — далеко. Ты — за стеклом. А стекло — в трещинах. И сквозь трещины — не свет. Сквозь трещины...

Хельга.

Она сидит на кровати. Комната — светлая, берлинская, с высоким потолком и белыми занавесками. Апрель. Тридцать второй. Ты стоишь у кровати — молодой, растерянный, в расстёгнутом кителе, а медсестра кладёт тебе на руки — свёрток. Тёплый. Живой. Тяжёлый, как приговор. Клаус. Первенец. Лицо — красное, сморщенное, невозможное, — лицо существа, только что пришедшего из ниоткуда, из той же темноты, в которой ты сейчас лежишь, — и Хельга говорит:

— *Возьми.*

И ты берёшь. Обеими руками, осторожно, неумело. Он весит — ничего. Он весит — всё. Руки дрожат. Хельга смеётся. Запах — молоко, тальк, крахмальная пелёнка. Нежный, мучнистый запах детской присыпки. Ты опускаешь лицо к этому тёплому комочку, и думаешь: вот. Вот зачем. Зачем — порядок, и списки, и аккуратность, и Рейх, — вот зачем: чтобы он — жил. Чтобы ему было где жить. Чтобы мир, в который он пришёл, был чистым.

Чистым.

Тальк скрипнул на зубах.

Нет. Не скрипнул. Заскрежетал. Мучнистый запах присыпки сгустился, превратился в сухую, меловую пыль, которая забила ноздри, — а под пылью, из-под неё, как из-под штукатурки проступает сырость, — полез другой запах. Резкий, едкий, выедающий глаза запах хлорной извести. Свёрток в руках стал легче. Легче. Ещё легче. Пелёнка — серая, не белая, и не пелёнка, — и лицо Клауса, нет — не его? — лицо растворялось, красное в сером, — и ты держишь — что? — ты держишь пепел, тёплый, сыпучий, он течёт сквозь пальцы, — и под пеплом ничего, пусто, свёрток пуст, — и вокруг — не палата, вокруг — бетон, нары, трёхэтажные нары, уходящие в перспективу, которой нет конца, — и плач, не плач твоего сына, — другой, многоголосый, надтреснутый, сухой, — плач, доносящийся из-за тяжёлой, стальной двери с герметичным глазком...

Боль.

Настоящая, физическая, ослепительная, — она вспыхнула в левом виске, как вспыхивает замыкание. Кто-то трогал его рану, и рана — отвечала, и ответ был белым, — белая вспышка, в которой исчез бетон, исчезли нары, исчез плач, — вспышка, похожая на взрыв магния, — и в этой вспышке — море.

Голубое, плоское, блестящее.

Римини. Тридцать седьмой. Горячий песок, обжигающий ступни. Санаторий для семей офицеров — белое здание на холме. Хельга в купальном костюме, Хельга смеётся, соломенная шляпка улетает, и Клаус — пятилетний, бежит за ней по кромке прибоя, и ноги его — маленькие, кривые, загорелые, топают по мокрому песку, и вода пенится вокруг этих ног, и Хельга кричит — осторожно! — и Фриц сидит на шезлонге с газетой, и газета сообщает о Нюрнберге, и на первой полосе — колонны, факелы, тысячи лиц, — и Дитер спит в коляске в тени, Дитер, которому уже почти два. И всё это реально. Всё это — было. Солнце, песок, крик Хельги, ноги Клауса в прибое. Было — и будет. И ради этого — всё.

Солнце становилось ярче. Слишком ярко. Невыносимо, кислотно-жёлто. Свет жёг сетчатку, выжигал тени, и в этом свете песок под ногами начал меняться. Зернистая, влажная поверхность — та самая, на которой Клаус только что оставлял следы, — потемнела, загустела, и из неё, как из земли прорастают кости, — стало прорасти другое. Ботинок. Детский, поношенный, со сбитым носком. Рядом — туфля. Женская, чёрная, на низком каблуке. Рядом — ещё. И ещё. Обувь поднималась из песка, — десятки, сотни, — детские сандалии, мужские штиблеты, стоптанные башмаки, — горы, — и волна лизала эти горы, и каждый ботинок был пустым, и в каждой пустоте — отсутствие ноги, — и отсутствие — весило больше, чем присутствие, — и горы росли, и море поднималось, и прибой уже не пенился, а чавкал, и Клаус...

Клауса не было. Пляж был пуст. Только обувь — до горизонта.

Темнота хлынула обратно. Густая, красно-бурая темнота, в которой он тонул, — и чьи-то руки держали его голову, и пальцы, пахнувшие карболкой, что-то делали с его виском, — и боль приходила волнами, — и каждая волна приносила с собой образ, и уносила другой, — и он не мог удержать — ни один...

Сено.

Вилы в руках. Грубая льняная рубаха на теле. Руки — без перчаток, мозолистые, чужие, — руки батрака. Он стоит у сарая, и солнце — низкое, осеннее, и сено — жёлтое, — нет, золотое, — нет, сено горит, горит изнутри, каждая соломинка светится, как горит нить в лампе, — и он вгоняет вилы, и поднимает сноп, — и сноп рассыпается в воздухе, и соломинки, медленно, медленно, — в невесомости, в безвоздушности сна, — распадаются и становятся не соломой, становятся волосами. Женскими. Отрезанными. Светлыми, тёмными, рыжими, седыми, — тысячи прядей, летящих в жёлтом

свете, — и он стоит по колени в них, и вилы в руках, и свет меркнет, и он — серый, он тень, он — никто. Он человек без имени, в мире, где Хельга жива.

Просто сено. Просто батрак.

Голоса за стеной. Не госпитальные. Не военные. Чужая, хрипкая речь. Польская? Украинская? Бремме? Бремме, ты здесь? Бремме не отвечал. Или отвечал, но слова были не его, слова были частотами: шум, треск, белый шум радиации, настроенной на волну, которой нет на шкале.

Площадь.

Берлин. Двадцать девятый. Может, тридцатый. Агитационный митинг. Факелы рвутся в ночное небо, и небо красное, и толпа ревет, и ревь сливается в пульс, мощный, горячий, первобытный, — Sieg! (*Победа!*) — и Фриц стоит в толпе, и верит, и вера — горячая, как пламя, — вера, от которой хочется маршировать, и кричать, и жить.

И тут — она.

Не в толпе. На краю толпы. Она не слушает. Она остановилась. Просто остановилась на улице посмотреть. Светлые волосы, убранные за ухо. Серое пальто. Нотная папка в руке — она шла из консерватории, или с урока, или — неважно, — она остановилась, и смотрела не на трибуну, а на него.

На него.

И он посмотрел на неё. И мир качнулся. Не исчез — качнулся. Как качается маятник: в одной точке — Тысячелетний Рейх, и марш, и знамя; в другой — девушка, остановившаяся посмотреть. И маятник качался, и он не мог выбрать, и не выбрал, и взял оба.

Он взял оба. Факел — в одну руку. Её ладонь — в другую. И обе руки — горели.

Пламя факелов разгоралось. Жар плавил кожу. Толпа больше не ревела лозунги. Толпа стонала. Рёв превращался в низкий, индустриальный, непрерывный гул — гул гигантских вентиляторов, вытяжных шахт, гул машины, работающей под землёй. Красный свет — уже не факелы, — отсвет из открытых зевов муфельных печей. Огонь гудел. Огонь требовал.

Хельга всё ещё там. В потоке. На ней — грубое, мешковатое пальто, — мужское, с чужого плеча, — и она движется вместе с потоком, по бетонному жёлобу, — вниз, под землю, к душевым, — и она смотрит на него, прямо, через огонь, — глазами, полными бездонной, бесконечной, нечеловеческой печали, — глазами, которые знают, — и губы её шевелятся, и сквозь ревь пламени:

— *Фриц. Почему ты не сжёг портфель?*

Тишина. Абсолютная, оглушительная тишина. Та, которая наступает, когда останавливается сердце.

И в этой тишине — не сразу, — сначала по одному, потом по два, потом хором, — голоса. Детские голоса. Они не пели. Они выкрикивали — нестройно, сбиваясь, перебивая друг друга, как выкрикивают считалку во дворе, как выкрикивают дразнилку, в такт шагам, обутым в деревянные колодки, — и колодки стучали по бетону, по камню, по кости...

*Не бойся.
Я не враг.
Я — часть тебя,
а ты — моя же часть.*

Голоса звенели — тонкие, стеклянные, — голоса, не знающие того, что знал Фриц, не видевшие того, что он видел, — голоса из мира, где считалка — просто считалка, где песня — просто песня, — или нет? — или это были голоса тех, кто знал всё, — и пел — потому что больше нечего было.

*Не бойся.
Я не враг...*

Голоса приближались. Или — он приближался к ним. Темнота редела, — красная, потом бурая, потом серая, потом — серая с розовым, — как редет туман, когда солнце ещё не видно, но уже чувствуется. И сквозь туман — тело: своё, чужое, тяжёлое, — бинты на голове, — запах йодоформа, — ноющая, горячая, пульсирующая боль в левом виске, — и жажда, жажда такая, что язык сухой, картонный, — и горло склеенное, — и руки есть, руки слушаются, — и пальцы шевелятся, — и под пальцами ткань, грубая, — не шёлк, не сукно, — мешковина, простыня...

*Я — часть тебя,
а ты — моя же часть...*

Он открыл глаза.

Мир — плыл. Контур — размытые, цвета — приглушённые. Потолок — деревянный, тёмный, низкий, — потолок крестьянского дома, или больницы, или монастыря, — и свет — откуда-то сбоку, — тусклый, свечной, — и первое, что он увидел, — не стену, не лицо, не лампу, — первое, что он увидел, было распятие.

Деревянное. Потемневшее от времени, от дыма, от столетий, — и на дереве — фигура, маленькая, вырезанная грубо, по-крестьянски, — человек с раскинутыми руками, с наклонённой головой. Голова наклонена так, как наклоняется голова у того, кто прислушивается к чему-то очень тихому. Или как наклоняется голова, когда шея сломана. Он видел этот наклон. На ферме. На вывеске. Во сне. Наяву. Везде — один и тот же угол. Одна и та же рифма. Одна и та же невозможность.

Распятый смотрел на него сверху вниз. Сквозь опущенные веки. С вечным, природным терпением, — терпением камня, терпением дерева, — терпением мёртвых, которые смотрят на тех, кто забыл умереть.

Раны на ладонях распятого были аккуратными. Круглыми. Такими же круглыми, как отверстия в лобовом стекле «Кюбельвагена». Такими же как дырки от пуль. Мандала — и здесь.

За стеной — голоса. Детские. Считалка. Или — молитва. Или — приговор.
Не бойся.

Фриц Ланг лежал на спине, в комнате, которую не узнавал, под распятием, которое знало его лучше, чем он сам. Рядом, на табурете, стояла жестяная кружка с водой. Он не мог до неё дотянуться. Он не мог.

Он лежал в зазоре между двумя именами. Между Лангом и тем, другим, чьи документы лежали — где? в кармане кителя, которого больше нет? в коричневом портфеле, который — где? — Между формой и наготой. Между куколкой и тем, во что ей предстоит обратиться. Между факелом и ладонью. Между одним миром — и другим.

В зазоре было тихо.

Тихо — и ничего.

А распятие смотрело.

Глава 8. Приход

Он просыпался слоями — как поднимаются со дна, проходя через толщу воды разной плотности: сначала — тёмная, илистая, густая вода бреда, где нет ни верха, ни низа; потом — мутная, зеленоватая, в которой уже угадывается направление света; потом — светлая, холодная, прозрачная, и наконец — поверхность... и ты выныриваешь, и воздух обжигает лёгкие, и мир есть.

Мир был потолком.

Деревянным, тёмным, балочным потолком, который он уже видел, но не помнил когда, потолком без трещины, — и распятие, — да, распятие на месте: маленькое, тёмное, с наклонённой головой, но теперь оно не смотрело на него, оно просто висело, предмет среди предметов, дерево среди дерева, и Фриц подумал: оно устало на меня смотреть.

— Вы пришли в себя.

Голос слева. Фриц повернул голову, и поворот отозвался тупой, гулкой болью в виске, как отзывается колокол, если ударить по нему ладонью, — не звон, а стон, и в этом стоне было что-то утешительное, потому что боль означала тело, тело означало жизнь, а жизнь означала — он ещё здесь.

Человек сидел на стуле у окна. Худой, длинный, с узким, вертикальным лицом, лицом, нарисованным одной линией: лоб, нос, подбородок, без горизонталей, без ширины — лицо, устремлённое вверх, как готический шпиль. Седые волосы, зачёсанные назад. Пасторский воротник — белая полоска на чёрном, единственная горизонталь.

— Меня зовут Шефер, — сказал человек. — Пастор Мартин Шефер. Вы находитесь в приходе Святой Анны. Бреслау.

Бреслау. Слово упало в сознание и осталось лежать — тяжёлое, неподвижное, и от него пошли круги: Бреслау, Силезия, шоссе, лес, свет сквозь кроны, стекло, мандала, Циммер, кровь, темнота. Круги расходились, слабели, гасли.

— Сколько? — спросил Фриц, и голос его был чужим, — не голосом, а шорохом, звуком, который издаёт сухой лист, когда по нему проходят.

— Три недели с небольшим. Сегодня семнадцатое октября.

Три недели. Двадцать один день. Пятьсот четыре часа. Фриц считал машинально, считал, потому что счёт — это порядок, а порядок — это то, что он знал. То, кем он был.

— Контузия. А рана была неглубокой, — продолжал Шефер голосом, привыкшим говорить с теми, кому не повезло. — Осколок стекла. Лобная кость. Вас подобрали, доставили в госпиталь. Но потом инфекция. Грязь, попавшая в рану. Температура. Бред. Врачи думали не выживете.

Бредил. Клаус на руках. Тальк. Хлорка. Море. Обувь. Сено. Хельга в потоке. Портфель.

— Портфель, — сказал Фриц. Слово вышло хриплым.

Шефер кивнул на угол комнаты. Там, на полу, у ножки шкафа, стоял портфель — коричневый, кожаный, с медной застёжкой, с монограммой *KL*, стоял так, как стоят вещи, которые положили и забыли, стоял и ждал.

— Он был при вас, — сказал Шефер. — Вы прижимали его к груди в бреду. Мне пришлось разжимать вам пальцы. Я не открывал.

— А форма?

Шефер посмотрел на него. Взгляд — не осуждающий. Не сочувствующий. Взгляд человека, который много лет читал одну книгу и научился видеть в каждом лице страницу.

— Форму я сжёг, — сказал он просто. — В печи. Пару ночей назад. Шерсть горела плохо. Она пахла палёной овцой.

Он помолчал.

— Если бы русский патруль нашёл в моём приходе эсэсовский мундир, они бы сожгли кирху вместе со мной.

Сжѐг. Патруль. Образ — мутный, мелькающий: скрип колѐс, булыжник, тряска, его везли на телеге, да, на телеге, и он был укрыт — чем? — простынѐй, белой, больничной, и простыня была натянута на лицо, как натягивают простыню на... нет, просто укрыли, и он лежал под этой простынѐй, и Бреслау, разрушенный, обгоревший Бреслау, проплывал — нет, он не видел ничего, но слышал: стук копыт, скрип тележных колѐс, чей-то далѐкий голос, и запах: гарь, штукатурка, мокрый кирпич, запах города, через который прошла война и ушла, оставив руины, тишину и телегу, везущую тело, укрытое простынѐй. Как покойника. Как одного из сотен. Мѐртвых никто не проверял.

— Зачем? — спросил Фриц. — Зачем вы меня забрали?

— Я — пастор, — сказал Шефер. — Это мой приход.

Он не добавил: «Я спасаю людей». Он не добавил: «Я знаю, кто вы». Он не добавил — ничего не добавил. И в этом *ничего* было больше, чем в любом слове.

— Ваши документы — сохранил. — Шефер достал из кармана конверт — помятый, с тонкой бумагой. — Ганс Вебер. Торговый представитель. Бремен. Я решил, что эти нужнее.

Фриц взял конверт. Пальцы — слабые, куколочные, ощупали бумагу. Посмотрел на имя, которое теперь было его.

Дни шли — медленно, как идут дни в местах, где время измеряется не часами, а колоколом, и колокол Святой Анны бил каждые три часа, и каждый удар был — событием, и каждый промежуток — ожиданием, и Фриц лежал, и слушал колокол, и ел то, что приносил Шефер: жидкий суп, чѐрный хлеб, иногда варѐную картошку, ел и чувствовал, как тело возвращается к нему — медленно, неохотно, как возвращается кошка, которая убежала и которую нельзя торопить.

Шефер приходил дважды в день — утром и вечером. Садился на тот же стул, в той же позе, с тем же вертикальным терпением, и говорил. Не рассказывал — говорил, как говорит хроника, как говорит летопись, ровным, бесстрастным голосом, в котором не было ни торжества, ни отчаяния, голосом, констатирующим факты, которые слишком велики для эмоций.

Факты поступали порциями, как лекарство, которое нельзя принять разом.

На третий день, когда Фриц смог сесть, опершись на подушку, Шефер сказал:

— Геринг бежал.

Он произнёс это так, как произносят «пошёл дождь». Без удивления. Без комментария.

— Седьмого октября. Вылетел из Берлина на личном самолёте. Русские танки уже входили в Потсдам. Одни говорят — Швеция. Другие — Испания. Третьи — что самолёт был сбит над Балтикой. — Шефер пожал плечами. — Крыса покинула корабль. Крысы всегда покидают корабль. Это не новость. Новость в том, что корабль продолжает тонуть и без крысы.

За окном звук: далеко, в другой части города, работал мотор. Тарахтящий, советский, дизельный. Звук этот был уже таким же привычным, как колокол.

— Кейтель подписал капитуляцию. Безоговорочную. Двенадцатого октября. В Берлине. В присутствии русских, англичан и французов. Партия распущена. Запрещена. Символика запрещена. Приветствие запрещено. Всё, что было, — он провёл ладонью по воздуху, жестом, каким стирают мел с доски. — Всё, что было — не было, — и в его голосе мелькнуло что-то — не раскаяние, скорее привкус прошлогоднего пепла, он тоже стоял на площади, он тоже верил, он тоже кивал, когда в проповедях звучало: «Бог послал нам фюрера», и теперь, стирая мел с доски, он стирал и свой почерк.

Фриц слушал. Слушал, как слушает пациент диагноз, не перебивая, не возражая, потому что возражать диагнозу нельзя. Каждое слово Шефера ложилось на его сознание, как ложится земля на крышку гроба: ровно, мерно, лопата за лопатой. Рейх. Капитуляция. Партия. Запрещена. Лопата — земля — гроб. Лопата — земля — гроб.

— А кто... кто стрелял в нас? — спросил Фриц.

Шефер горько, бескровно усмехнулся. В этой усмешке была вся теология проигранной войны.

— Свои. Немцы. Полевая жандармерия. Части, потерявшие связь со штабом. На просёлке, в лесу, военная машина без опознавательных — они стреляли на звук мотора. Приняли вас за русских диверсантов. Змея пожрала собственный хвост. Знаете?

Фриц промолчал.

— Водитель?

— Погиб на месте. Его похоронили. Здесь, на кладбище Святой Анны. Я прочитал молитву. Я не знал его имени. Документов не было. Только номер.

— Циммер, — сказал Фриц. — Курт Циммер.

Шефер кивнул. Достал тетрадь, толстую, в клеёночной обложке, и записал. Фриц видел, что в тетради были и другие имена, ряды имён, столбцы, и Фрицу не нужно было заглядывать в эти столбцы, чтобы знать, как они выглядят, ровные, аккуратные, имена людей, которых привозили, и хоронили, и над которыми читали молитву, не зная, кто они. Он знал эти столбцы. Он сам составлял такие.

— А радист? Бремме?

— Молодой? Светлый? — Шефер кивнул. — Он был здесь. Два дня. Пока вы... отсутствовали. Цел, невредим. Потом ушёл. На запад. С последней колонной. Сказал — попытается дойти до англичан.

Циммер мёртв. Бремме ушёл. Каждый в свою сторону. Каждый — в свой список. Связист, слушавший пустоту, ушёл на запад. Водитель, державший руль, — лежал в земле. А тот, кто сидел между ними, лежал на койке в ризнице, с чужим именем в конверте и портфелем у стены.

На четвёртый день Шефер сказал:

— Геббельс.

И замолчал. И молчание длилось долго, и в молчании было что-то, чего Фриц раньше в пасторе не замечал, — не отвращение, но оторопь, та оторопь, которую испытываешь, когда знакомый предмет оказывается чем-то совершенно другим.

— Его жена, Магда... — голос пастора дрогнул, — отравила всех своих шестерых детей. Сложила их в ряд, как кукол.

Колокол ударил за стеной. Три часа дня. Удар повис в воздухе и медленно растаял.

— Сложила в ряд, — повторил Шефер. — Шесть кукол. Одеты, причёсаны. Уложены... Сама тоже.

Кукол. Куколка. Фриц лежал и смотрел в потолок. Шесть детей. Уложены в ряд. Одеты, причёсаны. И он думал — не о детях Геббельса, нет, он думал о Клаусе и Дитере, о двух чемоданах, о поезде на Штеттин, Хельга, уезжающая с детьми, или Хельга, остающаяся в Берлине, или Хельга — нет, нет, нет...

— А он сам? — спросил Фриц, и собственный голос показался ему голосом из рации — далёким, плоским, лишённым глубины.

— Сдался русским, — сказал Шефер. — Или перешёл. Или был взят. Версии разнятся. Но он в Москве. И говорят работает. По специальности.

По специальности. Пропаганда оказалась ремеслом, не требующим верности. Человек, строивший храм из слов, обнаружил, что слова — строительный материал, а не фундамент, и перенёс мастерскую на другой участок. Фриц подумал: а мои чертежи? Мои расчёты? Можно ли перенести — и их?

И тут же отдёргнул мысль, как одёргивают руку от горячего. Нет. Не так. Не об этом. Не сейчас.

— Страна разорвана, — продолжал Шефер на следующий день, и голос его вернулся к хроникальной ровности. — Разорвана. Красная Армия стоит по

всей Восточной Германии и в Центральной. Бреслау — русская зона. Берлин — тоже. Запад оккупирован французами и британцами. А между ними, — он провёл пальцем по воздуху, рисуя невидимую линию, — между Эльбой и Везером — нейтральная территория. Серая зона, как её называют. Гамбург, Ганновер, Бремен.

Бремен. Фриц посмотрел на конверт, лежащий на тумбочке. Ганс Вебер. Торговый представитель. Бремен.

— Ни русских, ни англичан, — продолжал Шефер. — Ни закона, ни порядка. Контрабанда, чёрный рынок, голод. Говорят, — и здесь в его голосе появился тот тон, каким передают слухи, которые могут оказаться правдой, а могут — вымыслом. — Говорят, комендантом назначили Аденауэра. Бывший бургомистр Кёльна. Помните? Тот, которого сняли в тридцать третьем. Старик. Католик. Ненавидел партию. Если это правда, то союзники ищут немцем, у которых чистые руки.

Чистые руки. Фриц снова посмотрел на свои руки, лежащие поверх одеяла. Тонкие. Бледные. Как будто в этом году не было лета. Руки человека, который три недели лежал в бреду. Без мозолей. Руки адъютанта. Руки того, кто составлял списки, но никогда ничего не делал сам.

Чистые руки.

На шестой день — или на седьмой, дни путались, как нитки в клубке, из которого вытянули середину, — Фриц впервые встал.

Мир качнулся. Ноги — чужие, тонкие, ноги куколки — не держали, и он ухватился за спинку кровати, и стоял, как стоит утопающий, вцепившийся в обломок, и комната вокруг него была маленькой, белёной, с одним окном, за которым двор, а за двором — стена кирхи, красный кирпич, готическая стрельчатость, — и было солнце, октябрьское, низкое, бледное, — солнце, которое уже не грело, а только освещало, и Фриц стоял, и держался, и смотрел в окно, и в окне был — мир.

Мир, в котором не было Рейха.

Мир, в котором слово «Рейх» стало тем, чем стали красные линии на карте: краской. И флаги краской. И колонны краской. И факелы краской. Всё, что было, — краской на бумаге, которую сожгли. Как сожгли форму.

Как сожгли всё.

Кроме портфеля.

Портфель стоял у ножки шкафа. Коричневая кожа. Медная застёжка. *KL*.

Фриц смотрел на портфель. Портфель смотрел на Фрица.

Он отвернулся к окну.

И тогда — голоса.

Детские голоса. Со двора. Тонкие, звонкие, и Фриц подошёл к окну, держась за стену, и увидел: дети. Пять или шесть — маленькие, и постарше, в одежде не по размеру, в чужих ботинках, в чужих пальто — дети-беженцы, дети-обломки, и они стояли в кругу и выкрикивали — нестройно, перебивая друг друга, сбиваясь и начиная заново:

*Не бойся.
Я не враг.
Я — часть тебя,
а ты — моя же часть.*

По коже — от затылка вниз, по хребту, прошла волна: не мурашки, а холод, глубинный, костный, холод, пришедший не снаружи, а изнутри, — из того места, где три недели назад, в темноте, в коконе, эти же голоса пели ему, пели по нему, и он их слышал, и он не знал, были ли они частью его бреда, или бред был частью их песни.

Дети продолжали. Притопывали — в такт, не в такт, и ботинки стучали по каменным плитам двора. И потом — другие слова. Новые. Или старые, но — те, которых он не слышал в бреде:

*Вот он, дьявол, предо мной,
В его глазах моя же боль,
Рождённый тьмой, рождённый мной...*

Фриц отшатнулся от окна. Рука, которой он держался за стену, соскользнула. Он чуть не упал.

...рождённый тьмой, рождённый мной.

— Что это? — спросил он вечером, когда Шефер пришёл с супом и хлебом. — Дети. Песня. Откуда?

Шефер поставил миску на тумбочку. Поморщился — быстрым, произвольным движением.

— Беженцы. Из Данцига. Приходят каждое утро. Мы их кормим. Суп, хлеб, что есть. Некоторые — сироты. Некоторые — потерялись.

— Но песня. Где они её взяли?

— Дьявольщина, — сказал Шефер. — Не знаю. Никто их не учил. Они начали петь её на прошлой неделе. Как будто ветер принёс. Я пробовал отучить. — Он покачал головой. — Бесполезно. Дети впитывают безумие быстрее нас. Они поют про дьявола так, как играют в классики, — не понимая, по чему прыгают.

Рождённый тьмой. Рождённый мной. В его глазах моя же боль.

Фриц лежал на кровати и слушал, как за окном стихают голоса, стихают, но не исчезают, как не исчезает эхо в пустой кирхе.

Я — часть тебя, а ты — моя же часть.

Он? Они — о нём? Или он — о них?

На десятый день Фриц сказал:

— Мне нужно в Берлин. Жена. Дети. Они в Берлине. Или в Штеттине. Мне нужно — ехать.

Шефер сидел на своём стуле. Вертикальный. Неподвижный.

— Русские восстановили железнодорожное сообщение, — сказал он. — Бреслау — Берлин. Поезда ходят. Не каждый день. Русским нужна колея, чтобы вывозить на восток станки и оборудование с наших заводов. К эшелонам цепляют пассажирские вагоны. Главный вокзал.

Он помолчал.

— Но будьте осторожны, герр Вебер, — он произнёс имя ровно, без нажима, без кавычек, как произносят имена, которые приняли, — на вокзалах патрули. Русские, польские. Они проверяют. Документы.

Он посмотрел на руки Фрица, лежащие поверх одеяла.

— Они смотрят на руки. Шрамы. Мозоли. Руки — говорят.

Фриц посмотрел на свои руки. Тонкие. Бледные. Гладкие. Без мозолей. Без шрамов. Руки человека, который никогда не делал этого сам.

— Ваши руки чистые, — сказал Шефер. — Может, слишком чистые.

И в этих словах — в тоне, каким они были сказаны, было всё. Было — «я знаю, кто вы». Было — «я не спрашиваю». Было — «уходите». Было — «Бог вам судья». Всё это — не произнесённое, стояло в комнате, как стоит запах ладана, и Фриц услышал. И не ответил.

— Спасибо, — сказал он. — За всё.

Шефер встал. Подошёл к двери. Остановился.

— Герр Вебер.

— Да?

— Портфель. — Он не оборачивался. — Я не знаю, что в нём. Не хочу знать. Но что бы там ни было — оставьте. Я сожгу.

— Я подумаю, — сказал Фриц.

Шефер кивнул. Вышел. Дверь закрылась.

Портфель стоял у ножки шкафа.

На двенадцатый день Фриц Ланг, он же Ганс Вебер, торговый представитель из Бремена, протестант, не служивший, встал, оделся в одежду, которую принёс Шефер: серые потёртые брюки, тёмный пиджак, белую рубашку без воротничка, пальто — почти чёрное, чуть великоватое, с чужого плеча, и вышел из комнаты.

В коридоре — тишина. Запах ладана, сырого камня, старого дерева.

Он остановился у двери.

Портфель стоял у ножки шкафа. Коричневая кожа. Медная застёжка. *KL*. Внутри — папка. Чертежи, расчёты, рекомендации. Проект. Его проект. Его — всё.

Шефер сказал — оставьте, сожгу.

Хельга — из дыма: почему ты не сжёг?

Кляйн — из Освенцима, из другой жизни: сожги сегодня ночью.

Фриц стоял и смотрел на портфель. И портфель смотрел на Фрица.

Он поднял его.

Портфель был тяжелее, чем он помнил. Или рука была сильнее. Или то, что лежало внутри, приобрело часть своего веса, потому что мир, для которого эти чертежи были нарисованы, кончился, и чертежи стали тем, чем становится карта несуществующей страны: бумагой, очень тяжёлой бумагой.

Но он поднял его.

Сжечь — значило перестать быть тем, кем он был. Взять — значило остаться.

Он взял.

Вышел во двор. Октябрьское утро — серое, сырое, пахнущее дымом и мокрым камнем. Двор кирхи пуст. Дети ушли. Тихо. Только где-то за стеной — мотор, дизельный, советский, тархтящий, и где-то — голоса, и где-то — жизнь, которая продолжалась, хотя всё, что было, кончилось.

Фриц прижал портфель к груди — жестом, который был не привычкой, а инстинктом, жестом, каким прижимают к груди ребёнка, и пошёл.

К вокзалу. К поезду. К Берлину. К Хельге. К двум чемоданам.

Позади, в ризнице, распятие смотрело на пустую кровать. С терпением. С безграничным, природным терпением дерева, которое знает, что все уходят.

Глава 9. Перрон

Вокзал Бреслау был воронкой. Собором, из которого вынули Бога.

Стеклянный свод — или то, что от него осталось: стальные рёбра арок, торчащие в небо, как рёбра кита, выброшенного на берег, и между рёбрами, там, где было стекло — небо. Серое, октябрьское. Дождь, мелкий, холодный, сеялся сквозь пробоины прямо на перрон, на рельсы, на людей, стоявших вдоль платформы в том терпеливом, скотском ожидании, которое война делает второй натурой.

Поезд стоял на третьем пути. Товарные вагоны — тяжёлые, с красными звёздами на бортах, и к составу, как к волу телегу, были прицеплены два пассажирских вагона, старых, довоенных, с деревянными скамьями и выбитыми стёклами, заколоченными фанерой. Русским нужна была колея — вывозить на восток станки, турбины, целые заводы. А в обратную сторону ехали те, кто заводами не являлся и ценности не представлял.

Фриц стоял в толпе. Портфель — у ног. Пальто — чужое, великоватое. Документы — в нагрудном кармане, слева, у сердца.

Он поднял портфель и пошёл к перрону.

Он не крался. Не жался к стенам. Шёл прямо — навстречу, и каждый шаг был выбором, и каждый выбор был шагом, — и ноги несли его так, как несут ноги человека, который решил, — не потому что храбрый, а потому что идти назад — больше некуда.

Их было трое. Шинели цвета осенней земли, винтовки с гранёными штыками, красные звёзды на пилотках. Сержант — коренастый, широколицый, с обветренным, кирпичным лицом и маленькими, внимательными глазами, — стоял, расставив ноги, и в позе его была та прочность, которая бывает у людей, привыкших стоять на земле, а не на паркете. Двое рядовых — моложе, один совсем мальчишка — курили, смотрели на толпу с ленивым, кошачьим любопытством.

Сержант поднял руку. Ладонь — широкая, красная, потрескавшаяся.

— Dokument, — сказал он. Немецкое слово в его рту звучало тяжело, неповоротливо, — как знакомая мелодия, сыгранная на чужом инструменте.

Фриц достал кенкарту. Протянул. Пальцы не дрожали. Он был пуст. Пустота — лучшая маскировка. Пустота не пахнет страхом.

Сержант взял документ. Повернул. Повернул обратно. Поднёс к глазам. Губы шевелились, медленно, по слогам, губы человека, который читает на чужом языке, как идёт по чужому городу: осторожно, наощупь.

— Ve-ber, — произнёс сержант. — Gans Ve-ber. — Поднял глаза. — Бре-мен?

— Да. Бремен. Торговый представитель.

Сержант смотрел. Потом — на лицо. На лоб. На шрам — розовый, свежий, тянущийся от виска к брови. Он поднял руку и провёл пальцем по своему лицу — зеркально, от виска к брови, и кивнул вопросительно: что это?

— Командировка, — сказал Фриц. — Был в командировке. Война началась — попал под обстрел. На дороге. Случайно.

Маленькие глаза — не злые, не добрые. Глаза человека, который каждый день пропускает через себя десятки лиц, и каждое лицо — история, и каждая история — ложь, и он это знает, и они это знают, и ритуал продолжается, потому что ритуал — это порядок, а порядок — единственное, что осталось.

— Портфель, — сержант ткнул пальцем. — *Offen (Откройте)*.

Фриц поставил портфель на каменный парапет. Щёлкнул застёжкой. Медь — холодная. *KL* — две буквы, которые сержант не прочитал.

Портфель раскрылся.

Сверху хлеб. Полбуханки чёрного, завёрнутого в газету. Рядом — колбаса, конская, тёмно-бурая, пахнущая чесноком и дымом, в вощённой бумаге, колбаса, которую Шефер сунул ему в руки молча, потому что еда в дорогу не требует слов.

Под хлебом и колбасой — папка. Серая, картонная. Гриф — замазан чернилами, утром, в ризнице, замазан тщательно, по-бухгалтерски, но под чернилами, если присмотреться, ещё можно было разобрать: «*Geheime Reichssache*».

Сержант отодвинул хлеб. Взял папку. Открыл.

Чертежи. Таблицы. Колонки цифр. Аккуратный почерк. Схемы помещений — прямоугольники, коридоры, входы, выходы. Расчёты пропускной способности. Вентиляция. Канализация. Спецификация оборудования.

Он держал папку так, как держат книгу на незнакомом языке, с уважением к предмету и с полным отсутствием понимания. Поворачивал листы. Один. Другой. Третий. Толстый, красный палец — на тонких линиях, на аккуратных прямоугольниках.

— *Was ist das?* — он ткнул в схему. — Что это?

И в этот момент — голоса.

Они донеслись сбоку, с привокзальной площади, из-за разрушенной стены, из пространства, которое не было ни внутри вокзала, ни снаружи, из промежутка, из зазора, и Фриц повернул голову, и сержант повернул голову, и оба рядовых повернули головы, потому что голоса были громкими, и странными, и неожиданными, как бывает неожиданным пение птицы посреди пожара.

Дети.

Пять или шесть. В чужой одежде, в чужих ботинках. Они не стояли в кругу. Они выступали. Это было представление.

Девочка — лет одиннадцати-двенадцати, с остриженными коротко волосами и лицом, на котором детство и старость уже встретились и не смогли разойтись, сидела на деревянном ящике из-под снарядов. В руках — аккордеон, чёрный, облупленный, с перламутровыми кнопками, из которых половина не работала. Она играла — яростно, испуганно, пальцы летали по клавишам, мехи ходили, как ходят лёгкие у утопающего — вдох-выдох, вдох-выдох — и звук, выходящий из этого инструмента, был — чем? Не музыкой. Не шумом. Чем-то третьим, чем-то, что существовало до языка, когда люди ещё не говорили, а только кричали, — и крик был молитвой, и молитва была криком.

Остальные подпевали. Нестройно, грубо, выкрикивая слова, как выкрикивают приговор:

*В зеркальной глади, зыбкой и туманной,
Вдруг отразился образ, будто бы не мой.
И страх холодный, острый, как кинжальный,
Пронзил меня, сковав губительной тоской...*

И мальчик.

Мальчик лет семи, худой, с ввалившимися щеками и глазами, которые были слишком большими для его лица, глазами, которые видели то, чего дети видеть не должны. Он танцевал.

Нет. То, что он делал, нельзя было назвать танцем, как нельзя назвать танцем конвульсию, как нельзя назвать танцем припадок, как нельзя назвать танцем пляску святого Витта. Но он двигался, и движения его были ритмичными, и ритм был точным, и точность была нечеловеческой. Тело дёргалось, выворачивалось, изламывалось в суставах, голова моталась, руки взлетали и падали, ноги выбивали из камня звук, который был старше музыки. И в этом изломе, в этом крике тела, была красота. Та, от которой больно. Та, которая не лечит, а ранит.

*«Я — тень твоя, — он проскрипел с ухмылкой, —
Твоя вторая половина, тьма души.
Ты прячешь страхи, прячешь боль и пытки,
Но я пришёл. Так правду расскажи...»*

*И он шагнул, коснувшись пальцем грязным
Моей щеки, оставив след огня.
«Я — гнев твой ярый, я — твой крик утробный,
Я — всё, что ты скрываешь от себя».*

Мальчик танцевал. Аккордеон рыдал. Сержант дёрнул Фрица за рукав.

— Эй. Was ist das?

Палец — в чертежах. Красный палец на тонких линиях.

Фриц посмотрел на чертежи. Потом на сержанта. Потом на мальчика.

— Это, — он сглотнул, — мой проект. Ферма будущего. Фабричное животноводство. Без выгула. — Голос его стал ровным, деловитым. Голосом Вебера. Голосом торгового представителя. — Откорм — забой — конвейерная переработка. Птица. Коровы. Свиньи.

«Прими меня, узнай порока страсть.

Не бойся, — прошептал он, — я не враг.

Я — часть тебя, а ты — моя же часть...»

Сержант смотрел на чертежи. На прямоугольники барачков. На схемы душевых. На расчёты вентиляции. Потом на Фрица. Потом на конскую колбасу, лежавшую в портфеле рядом с папкой.

И его лицо расплылось. Морщины разошлись. Маленькие глаза сузились. Он засмеялся, густо, утробно, смехом человека, для которого свиньи — не абстракция, а жизнь.

— А-а, — сказал он, — швайн. Швайн! — Ткнул пальцем в чертёж. — Schwein, ja?

И обернулся к рядовым, и сказал что-то по-русски, и рядовые засмеялись, и смех был обычным, человеческим, смехом людей, которым показали что-то простое, понятное, своё: свиньи, ферма, колбаса. Ничего, что требовало бы объяснений.

А дети, дети пели:

И я смотрю, как в зеркале мерцают

Два существа, что встретились во сне.

И понимаю, что страхи не сбегают,

Им суждено быть навсегда во мне...

Мальчик танцевал. Девочка играла с закрытыми глазами.

Сержант закрыл папку. Положил обратно. Накрыв хлеб и колбасой. Сунул Фрицу кенкарту.

— Gut, — сказал он. — Nach Hause. Домой. Швайн.

И снова засмеялся, и в смехе было — что? Добродушие? Презрение? Усталость? — Всё это и ничего. Просто смех. Потому что война кончилась, и мир ещё не начался, и в промежутке — можно посмеяться над человеком со свинофермой в портфеле.

Вот он, дьявол, предо мной,

В его глазах моя же боль,

*Рождённый тьмой, рождённый мной...
...рождённый мной, рождённый тьмой.*

Фриц закрыл портфель. Медная застёжка щёлкнула. Он прошёл мимо сержанта, мимо рядовых, и каждый шаг был уходом, и каждый уход — спасением, и каждое спасение — приговором. Потому что он уносил портфель, и чертежи были — им, и свиньи были — не свиньями, и сержант не знал, и рядовые не знали, и только дети пели...

*Не бойся.
Я не враг.
Я — часть тебя,
а ты — моя же часть.*

Он сел в вагон. Деревянная скамья. Запах мочи, дыма, мокрой шерсти, запах людей, едущих в одном направлении. Портфель у ног. Поезд тронулся — медленно, нехотя, с тем скрежетом, с каким трогаются поезда, которые не хотят ехать. Перрон уплыл. Дети уплыли. Сержант уплыл.

Фриц закрыл глаза. Стук колёс — мерный, ровный. Ту-дум, ту-дум... Ту-дум, ту-дум... Он заснул.

Та же площадь. Тот же вокзал. Те же арки.

Но ночь.

И площадь залита светом — не солнечным, не электрическим — светом, который вспыхивает и гаснет, вспыхивает и гаснет — красный, синий, зелёный — свет, который не освещает, а ослепляет, и тени от него не стоят, а мечутся, и воздух вибрирует, и вибрация — низкая, гулкая, утробная — входит в тело через подошвы, через кости, через зубы.

Те же дети. Но не в лохмотьях.

Одеты — как? — ярко, пёстро, в одежде, которая не принадлежала ни одному времени, в одежде, которая была костюмом для представления, которое исполняется только один раз.

Девочка — та же — сидела на табурете, и аккордеон в её руках был другим: целым, чёрным, блестящим. И звук — громкий, такой громкий, что вибрировал воздух, вибрировали стены, вибрировали рёбра. И Фриц чувствовал этот звук не ушами, а грудной клеткой, сердце стучало в такт — нет, сердце не стучало, сердце трепетало, как трепещет птица в кулаке, и давление в висках нарастало, и пот выступал на лбу, на шее, на спине, и лёгкие не вмещали воздух, и он хотел закричать, но крик не выходил — потому что музыка кричала за него.

Мальчик танцевал.

Но теперь танец был танцем. Не конвульсией, не припадком. Танцем, в котором была — радость? — нет, не радость — что-то, для чего слово слишком

мало — свобода? — нет, что-то по ту сторону свободы, по ту сторону горя, по ту сторону всего, и мальчик двигался, и каждое движение было — Клаусом, бегущим по песку, и Дитером, державшимся за подол маминого платья, и обувью, прорастающей из песка, и тальком, и хлоркой, и белым дымом, и чёрным, и серым пеплом, и всем, что Фриц видел, и всем, что Фриц сделал, и всем, что не сделал, и в танце не было ни вины, ни прощения — только движение, только ритм, только жизнь, которая продолжается, несмотря на всё.

*Я — часть тебя,
а ты — моя же часть.*

Фриц открыл глаза.

Холодный пот — на лбу, на шее, под мышками. Рубашка мокрая. Тело чужое. За окном — в щели между фанерой и рамой — сумерки. Моросил дождь. Мир был серым.

Портфель при нём. У ног. Коричневая кожа. Медная застёжка.

За окном — в просветах — проплывали руины. Остовы домов. Пустые оконные проёмы, в которых ничего не отражалось, кроме неба. И в маленьком осколке стекла, ещё державшемся в оконной раме, отражение: лицо — его лицо? — чужое лицо, лицо Ганса Вебера, торгового представителя, лицо человека со шрамом, в чужом пальто, с портфелем у ног, и он не мог определить, где кончается одно и начинается другое.

Я — часть тебя.

Поезд замедлял ход. Впереди, в мокрых сумерках, проступали огни — редкие, тусклые — огни вокзала. Кто-то в вагоне сказал: *Берлин, подъезжаем.*

Фриц сжал портфель.

Глава 10. Берлин

Состав остановился не на Анхальтском вокзале, а где-то в лабиринте запасных путей, среди пакгаузов и мёртвых стрелок.

Поезд выплюнул его на перрон вместе с облаком сизого пара, и пар повис в воздухе, как повисает последнее слово разговора, который не хочет кончаться. Фриц спустился по ступеням вагона. Дождь, мелкий и колкий, осел на плечах пальто.

Впереди, у выхода, в жёлтом круге света от уцелевшего фонаря стоял патруль. Двое, в мокрых плащ-палатках, курили. Фриц замедлил шаг. Пальцы скользнули за пазуху — к кенкарте, жест, который должен стать рефлексом, вошедшим в мышцы, как входит в мышцы строевой шаг, — и он приготовился. К допросу. К вранью. К борьбе за свою призрачную жизнь.

Солдат посмотрел на него. Взгляд скользнул по пальто, по шраму, по портфелю, и солдат — просто кивнул. Коротко. Небрежно, стряхивая пепел с папиросы. *Проходи.*

Жест ударил сильнее, чем удар прикладом. Его не остановили. Не заподозрили. Не увидели. В глазах победителей он не был ни врагом, ни замаскированным волком, ни даже человеком, заслуживающим проверки. Он был нулём. Оболочкой, бредущей сквозь дождь.

Фриц вышел на улицу.

Берлин не был стёрт — его не штурмовали. Он сдавался кусками, под ночными ударами британских бомб. Улицы зияли провалами, но между ними стояли целые фасады — слепые, тёмные, безупречные, как стоят зубы во рту покойника. Бомбы падали выборочно: заводы, мосты, вокзалы. Но бомбам, как говорила Хельга, всё равно, и некоторые упали не туда, и вот: здесь — дом, с занавесками, с цветочным горшком на подоконнике, а рядом — пролом, провал, обнажённые кишки этажей, ванна, висящая на трубах на третьем, ванна, в которой никто больше не будет мыться.

Фриц шёл, и ботинки стучали по мостовой, и стук был единственным звуком — нет, не единственным — где-то гудел мотор, где-то лаяли собаки, где-то шумела вода, но звуки были отдельными, изолированными, как отдельные звуки в пустом доме.

Он шёл вдоль трамвайных путей. Рельсы блестели в мокрой темноте, уходя в перспективу, и с каждым шагом что-то менялось: не в городе, в воздухе, в фактуре ночи. Становилось гуще. Становилось теплее.

Фридрихштрассе качнулась.

Не дома, не мостовая, что-то в освещении, в температуре тьмы — и вдруг, из-под мокрой брусчатки, из подвальных решёток, из канализационных люков — свет. Красный. Абсентово-зелёный. Электрический синий. Фонари горели. Не керосиновые — электрические, жёлтые, и витрины — целые, блестящие, и за стёклами — манекены в шёлке, и из ресторана на углу, из ресторана, которого не было, музыка. Саксофон. Грязный, тягучий, откровенный звук.

Двадцатые. Берлин двадцатых, Берлин, который Фриц застал холостым, который пах шампанским, бензином и духами — Берлин кабаре и бессонных ночей. Люди на тротуарах. Женщины с короткими стрижками, с губами, вымазанными чёрной помадой, в платьях, расшитых стеклярусом. Мужчины во фраках, пьяные, один блевал шампанским в водосток, а женщина в красном платье поддерживала его, и оба смеялись — громко, бесстыдно — смехом людей, не знающих, что будет через десять лет.

Юноша с набелённым лицом и подведёнными глазами толкнул Фрица плечом, расхохотался и швырнул ему под ноги горсть бумажек — миллионные

марки Веймарской республики. Они закружились в лужах, превращаясь в осенние листья.

Фриц шёл среди них, и они его не видели, как не видели на перроне, и он был — нулём — и здесь, и там, нулём среди живых и нулём среди призраков.

Женщина в красном повернулась. Лицо размытое, как отражение в мутной воде. Но глаза ясные. Не Хельгины. Ницьи. Глаза города.

Саксофон взвизгнул на невыносимо высокой ноте и оборвался.

Фонари погасли. Витрины пусты. Ресторан — пролом в стене. Люди исчезли. Фридрихштрассе — снова тёмная, мокрая, мёртвая. Только ботинки по мостовой. Только стук.

И тогда — из темноты, из промежутка между двумя несуществующими фонарями — снова свет. Жёлтый глаз, круглый, с горизонтальной чёрточкой маршрута. Трамвай.

Он выплыл из тумана, скрипя железом по железу, звеня колоколом, тот самый берлинский трамвайный звон, который Фриц не слышал — сколько? — недели? месяцы? — звон, принадлежащий другой жизни, жизни, в которой трамваи ходят по расписанию. Он остановился. Двери открылись. Внутри — тусклый свет, деревянные скамьи. Пусто. Никого. Только спина вагонного водителя в переднем окне, сутулая, в тёмной куртке, спина человека, который ведёт трамвай через мёртвый город, потому что расписание, потому что маршрут, потому что должны ходить.

Фриц вошёл. Сел. Двери закрылись. Трамвай тронулся. Город за окном поплыл — тёмный, с провалами, с заплатами — и портфель стоял у ног, и трамвай вёз его домой.

Рассвет был серым, как нестираное бельё.

Шиллерштрассе. Их дом стоял. Стоял там же — где всегда. Четырёхэтажный, с эркерами, с лепниной над подъездом. Стёкла целы. Дверь подъезда закрыта. Почтовые ящики на месте. И в этом было что-то невозможное, что-то оскорбительное, потому что мир вокруг рухнул, а его дом стоял.

Фриц поднялся на третий этаж. Лестничная клетка пахла мастикой и кислой капустой. Достал ключ — латунный, тяжёлый — ключ, который он носил все эти недели, сначала в кармане кителя, потом — пиджака, пальто, как знак переходящий из одежды в одежду, из жизни в жизнь.

Вставил. Повернул. Металл звякнул в замочной скважине.

— Герр Ланг?

Он замер. Ладонь на дверной ручке. Спина к голосу. Имя — настоящее — ударило между лопаток.

— Герр Ланг, это вы?

Обернулся.

Фрау Крюгер. Дверь напротив приоткрыта. Лицо в проёме: седые, аккуратно уложенные волосы, маленькие, близорукие глаза за толстыми стёклами. Лицо соседки. Лицо человека из параллельного мира, из мира, где варят кофе, гладят салфетки, помнят дни рождения.

— Подождите, — она скрылась и вернулась, протягивая сложенный листок. — Фрау Хельга оставила. Перед отъездом. Просила передать.

Фриц взял. Бумага в клетку, вырванная из школьной тетради. Бумага, которая ничего не весила.

— Куда они уехали?

— Со Шмидтами, — сказала фрау Крюгер, и голос был голосом человека, сообщающего новости о соседях так, как сообщал их всегда: обстоятельно, с привычным любопытством. — С Эрной и Гюнтером. В Бельгию. У Эрны родственники в Льеже. На вокзал поехали на машине Шмидтов, у ещё был бензин. Клаус нёс чемодан. А маленький... маленький нёс медвежонка.

Дитер. Маленький нёс медвежонка.

— А потом, — добавила фрау Крюгер, и голос стал тише, — к вам приходили. Двое. Наверно, с работы. Что-то забирали.

Она сказала это так, как говорят «приходил слесарь». Буднично, без акцента. И в этой будничности было всё.

— Спасибо, фрау Крюгер.

— Вы похудели, герр Ланг, — сказала она. И закрыла дверь.

Квартира встретила его тишиной. Вешалка — пуста. Ни пальто, ни шарфа, ни детских курточек. Полка для обуви — пуста. Коврик у двери — на месте, чистый.

Гостиная. Стол, стулья, шкаф, комод. Мебель на месте. Но не было следов. Ни чашки на столе. Ни газеты. Ни забытой игрушки.

Спальня. Платяной шкаф. Он открыл. Правая сторона — Хельгины платья, ровными рядами. Детские вещи — стопками. Левая сторона — пуста. Его сторона. Ни одной рубашки, ни одного нижнего. Пуста — как вырезана.

Ванная. Полочка у зеркала. Хельгин крем. Хельгина расчёска. Его помазка нет. Бритва — нет. Мыло — нет.

Кабинет. Письменный стол чист. Ящики открыты и пусты. Книжный шкаф с проплешинами: записные книжки, партийная литература, личные бумаги — изъяты. Парадный мундир — изъят. Запасные сапоги — изъят.

Двое в чёрном, пришедшие после, провели ампутацию. Вырезали — его. Всё, что могло связать эту квартиру с унтерштурмфюрером, всё, на чём стояло имя, метка, всё, что могло быть уликой. Вычистили. Выскоблили. Стёрли. Хельга осталась. Дети остались. Он — исчез. Фрица Ланга в этой квартире не было. Не было доказательств, что он когда-либо здесь дышал, ел, брился и спал рядом с женой.

Он стоял посреди гостиной. Пустота в собственном доме.

Развернул записку. Почерк Хельги — торопливый, наклонённый вправо — почерк человека, который пишет стоя, одной рукой, а другой — держит ребёнка.

«Фриц, мы с детьми поехали к родственникам Эрны в Льеж. Не знаю, как доберёмся, но поезда до Ганновера пока ходят. Клаус молчит. Дитер спрашивает, где папа. Я не могу больше ждать. Найди нас. Хельга».

Поезда до Ганновера. Ганновер — серая зона.

Он сложил записку. Убрал во внутренний карман — туда, где лежали документы Вебера — слева, у сердца.

Подошёл к комоду. На комод — единственная вещь, которую не забрали. Фотография в простой деревянной рамке. Хельга в светлом платье, на скамейке в парке. Клаус стоит рядом — серьёзный, прямой. Дитер на руках у матери — смеётся. Смех, остановленный камерой. Смех, из которого нельзя выйти.

Его самого на фотографии не было. Он стоял по ту сторону объектива.

Фриц взял рамку. Перевернул. Отогнул задник. Вынул фотографию — осторожно, пальцами, которые не дрожали. Положил к документам, к записке — к внутреннему карману, слева.

Рамку поставил обратно на комод. Пустую.

Потом посмотрел вниз. Портфель стоял у его ног. Коричневая кожа. Медная застёжка. KL.

Он поднял его. Поставил на комод. Рядом с пустой рамкой.

Постоял.

Развернулся и пошёл к двери. Ключи оставил на тумбочке в прихожей — они больше ничего не открывали. Вышел. Дверь захлопнулась.

Ганс Вебер, торговый представитель из Бремена, спустился по лестнице, не оглядываясь. В кармане у сердца — документы, записка, фотография. На комод в пустой квартире на Шиллерштрассе, рядом с пустой рамкой — портфель.

Он вышел на улицу. Утро было серым, мокрым. Обычным утром города, который стоял, хотя не должен был стоять.

Он снова пошёл к вокзалу. К поезду. К Ганноверу.

К Хельге, которая написала: найди нас. К Дитеру, который спрашивает: где папа.

Глава 11. Серая зона

Ганновер не был городом. Ганновер был состоянием. У него не было цвета. Он был написан графитом по влажной, пористой бумаге.

Серая зона, зажатая между реками, оккупационными армиями и рухнувшими эпохами, встретила его низким небом и въедливой ноябрьской моросью. Здесь не было ни красных флагов победителей, ни триколоров союзников. Здесь было царство сумерек. Город-вокзал, где оседала пыль разбитой империи, где люди с чужими документами искали людей с чужими именами, двигаясь осторожно, как по тонкому льду.

Поезд из Берлина пришёл к вечеру. Вокзал был почти цел — крыша просела с одного края, и в провал заглядывало небо, но стены стояли, и часы на фасаде показывали время, и время было правильным, и в этой правильности, в этих работающих часах посреди разрушенного мира, было что-то жуткое. Как бывает жутко, когда в мёртвом доме продолжают тикать ходики.

Фриц вышел на привокзальную площадь. Ноябрь. Он знал это не по календарю, а по воздуху — тяжёлому, влажному, пахнущему прелой листвой и углём. Воздух, который не обещает ничего.

Он шёл по Банхофштрассе. Банхофштрассе — вокзальная улица. В каждом немецком городе есть Банхофштрассе, и каждая похожа на другую. Может быть, все города — один город. Может быть, все Банхофштрассе — одна. И он идёт по ней всегда.

Откуда-то — из-за угла, из полуоткрытого окна — донёсся звук. Не музыка. Голос. Мужской, знакомый, бормочущий что-то на частоте, которой нет на шкале. Фриц замедлил шаг. Прислушался. Голос пропал, ушёл под другие звуки: шаги, ветер, скрип вывески. Фриц пошёл дальше.

Гостиница называлась «Кайзерхоф». Название из прошлого века. Трёхэтажное здание, серый облупленный фасад, чугунный балкон, на котором никто не стоял. Дверь — тяжёлая, со стеклянной вставкой.

Фриц вошёл.

За стойкой портье. Человек неопределённого возраста, с лицом, которое было не лицом, а поверхностью: гладкой, серой, ничего не выражающей. Серая зона научила такие лица: любое выражение — информация, информация — валюта, валюту не разбрасывают. Маленькие усики. Редкие, прилизанные волосы. Глаза цвета осенней воды. На среднем пальце чернильное пятно, похожее на синяк.

За его спиной на стене висели круглые часы. Их ход был слишком громким. Тик-так. Тик-так. Звук падал в тишину холла, как капли воды на металлический поднос.

— Комнату, — сказал Фриц.

Портье посмотрел на него. На свежий, багровый шрам у виска. На военную выправку, которую не могла скрыть приобретённая сутулость. На потёртое пальто, висящее на плечах, как снятая с чучела шкура. На руки — слишком чистым, без единой мозоли. В этом взгляде не было подозрения. В нём было умение этого места: видеть и не спрашивать. Знать и не говорить.

— Надолго?

— Нет. — Фриц достал из внутреннего кармана фотографию. Положил на стойку. Хельга, Клаус, Дитер. Парк. Скамейка. Смех, остановленный камерой. — Ищу жену и детей. Они ехали в Бельгию. Через Ганновер. В конце сентября.

Портье посмотрел на фотографию. Не взял в руки. Скользнул тем же водянистым взглядом.

— Не видел. Но здесь было много. С востока. Тысячи. Каждый день. Лица — смываются.

Он подвинул регистрационную книгу.

— Документы?

Фриц положил кенкарту. Портье прочитал быстро, привычно.

— Вебер. Бремен. Торговый представитель. — Поднял глаза. — Служили?

— Нет.

— Хорошо. Комната двенадцать. Второй этаж. Оплата посуточно.

Записал в книгу — «Вебер, Г., Бремен». Повесил ключ на стойку.

— Герр Вебер.

Фриц обернулся.

— Если вам нужно в Бельгию, — портье говорил негромко, глядя не на Фрица, а на регистрационную книгу, — вам нужно сменить образ. Вы не похожи на торговца.

Тик-так. Тик-так.

— Французы и британцы проводят рейды. Ищут разных.

«Разных» повисло в воздухе. Разных — каких? Слово, не требующее уточнения.

— Вам нужен портной, — сказал портье. — Хороший. С тканью сейчас плохо, но у него есть. Довоенная. И шьёт быстро.

Он вытащил из-под стойки клочок бумаги, написал адрес мелким почерком.

— Гольдштейн, Ноа. Банхофштрассе. В подвале.

Фриц посмотрел на бумажку.

— Еврей? — спросил он.

Спросил — и услышал своё слово. Привычное. Профессиональное. Слово, которое он произносил тысячи раз — в Ораниенбурге, в Заксенхаузене, во Львове. Категория. Графа в таблице. Здесь, на стойке гостиницы в серой зоне, слово прозвучало так же. Точно так же.

— Да, — сказал портье. — Вернулся из Брайтенау.

Брайтенау. Фриц знал это место. Не по слухам — по документам, по папкам, по спецификациям. По тем самым папкам, одна из которых осталась в пустой берлинской квартире, рядом с пустой рамкой.

— Спасибо, — сказал Фриц. Взял бумажку. Взял ключ. Поднялся в номер.

Комната двенадцать. Кровать, тумбочка, стул, окно. Обои — блёклые, в мелкий цветок, когда-то розовые, теперь серые. Лампа на тумбочке — с жёлтым, усталым светом. Раковина в углу с одним краном. Зеркало — маленькое, мутное.

Фриц подошёл к зеркалу. Посмотрел. Из мутного стекла на него смотрело худое лицо с запавшими щеками, с тёмными кругами под глазами. Грязно-розовый шрам. Щетина трёхдневная, седеющая. Глаза — его. Но что-то в них изменилось: не цвет, не форма. Выражение. Глаза человека, который смотрит и не узнаёт того, кто смотрит в ответ.

Он отвернулся. Это просто усталость.

Лёг на кровать. Матрас — тонкий, пружинный, просевший. Скрипнул. Фриц закрыл глаза. Не спал. Лежал и слушал тишину номера двенадцать, тишину серой зоны, тишину мира, который остановился и не знал, куда дальше.

К вечеру он вышел.

Ганновер в сумерках был иным. Фонари — те, что работали, горели тускло, рыжим, керосиновым светом. Тени от них были длинными. Люди двигались не так, как в Берлине — не бредя, а снуя — с целью, с направлением. Серая зона при всём хаосе была рынком. На рынке каждый знает, куда идёт.

Закусочная — на углу. Маленькая, полупустая. Стойка, три столика. Запах кислой капусты, прогорклого жира и хлорки. За стойкой — женщина, крупная, в засаленном переднике.

Фриц сел за столик у стены.

— Что есть?

— Капуста. Жареная. С хлебом.

— Колбаски?

— Нет.

— Капусту.

Тарелка — глиняная, коричневая. Капуста — тёмная, маслянистая, с подгоревшими краями. Хлеб — чёрный, плотный. Еда, которая не притворяется другой едой.

Фриц ел медленно. Капуста была кислой, с горчинкой пригорелого. Хлеб — влажный, тяжёлый. Он жевал, и челюсти работали механически, и тело принимало пищу, как принимает мотор бензин: без благодарности, без удовольствия. Просто — топливо.

Из угла, из динамика под потолком, полился звук. Сначала — шум. Треск. Помехи. Кто-то крутил ручку настройки. Сквозь помехи — голос. Тот самый. Далёкий, высокий, резкий, лающий голос человека, привыкшего выступать перед стадионами. Гортанные звуки, шипящие. Фриц замер с вилок. Голос говорил что-то — не слова, а тени слов. Потом пропал.

Вместо голоса — музыка. Тихая, одинокая. Инструмент неопределимый: не фортепиано, не аккордеон, что-то третье. Мелодия — медленная, тревожная, кружащаяся, как кружится мотылёк вокруг лампы. В мелодии было узнавание. Что-то, что Фриц уже слышал — на ферме, ночью, из радиоприёмника Яремы. Или в бреду. Или всегда.

Женщина за стойкой переключила волну. Заиграло что-то бодрое. Мелодия оборвалась.

Фриц доел. Расплатился. Вышел.

Банхофштрассе. Он знал адрес — бумажка в кармане. Но не пошёл по ней. Пошёл мимо, дальше, вдоль мокрых фасадов, вдоль закрытых витрин, и ноги сами несли его, как несут ноги человека, который не хочет прийти, но знает, что придёт.

Он нашёл дом. Старый, с облупленным фасадом. У входа — ступени вниз, в полуподвал. Над ступенями — вывеска, маленькая, деревянная:

Н. Гольдштейн. Портной

Окно полуподвала освещено. Тёплый, жёлтый свет. За стеклом, искажённый потёками дождя, — силуэт. Человек сидел у лампы, склонившись над столом. Маленький, сутулый. Руки двигались. Игла входила в ткань и выходила из ткани. Вход-выход.

Фриц стоял на тротуаре. Смотрел.

Он не думал: палач и жертва. Он не думал: ирония. Он вообще не думал. Он стоял, и ноябрьский ветер шевелил полы чужого пальто, и фонарь на углу качался, и тень Фрица качалась вместе с ним, и он смотрел на человека, который шил, и человек его не видел.

Вход-выход. Вход-выход. Стежок за стежком.

Завтра.

Он развернулся и пошёл обратно. К гостинице. К номеру двенадцать. К кровати с провисшим матрасом.

За спиной, в окне полуподвала, — свет, руки, игла.

А из полуоткрытого окна дома напротив — снова: голос. Тот самый. Из радиоприёмника, настроенного на волну, которой нет. Бормотание на границе разборчивости. И в бормотании — имя.

Не его.

Ещё не его.

Глава 12. Танго

Утро было прозрачным. Тем особенным ноябрьским утром, когда воздух — стеклянный, и в стеклянном воздухе каждый звук отдельный, каждый контур резкий, и мир кажется ясным, промытым, — как после долгой болезни, когда лихорадка отступила.

Фриц спустился по ступеням в полуподвал. Постучал.

Запах — портновский мел, нагретая шерсть, керосин от лампы. Обрезки ткани на полу. Катушки ниток на полке. Выкройки на стенах. Тепло.

— Доброе утро, герр Вебер, — Гольдштейн сидел у лампы. Руки двигались. Игла входила в ткань. Выходила.

— Вы были на вокзале? — спросил портной, не поднимая головы.

— Был. Моих не было.

Гольдштейн кивнул. Медленно. Без комментария.

— Костюм готов. — Он поднялся, подошёл к манекену у стены. Снял костюм — тёмно-серый, неброский, с узкими лацканами. Костюм, в котором можно быть кем угодно. Расправил, сложил. — Довоенная ткань. Хорошая диагональ. Примерите?

— Нет, спасибо. В гостинице.

— Как хотите. — Гольдштейн положил костюм на прилавок. Остановился. Посмотрел на Фрица поверх очков. — К этому костюму вам нужен свитер. Тёплый. Зима скоро.

Он достал из шкафа свитер — светло-серый, крупной вязки, мягкий.

— Примерьте хотя бы. Я должен убедиться в плечах.

Фриц посмотрел на свитер. Посмотрел на Гольдштейна.

— Ноа, не нужно.

— Примерьте, — повторил портной, и в голосе была та портновская настойчивость, которая не терпит возражений.

Фриц снял пальто. Расстегнул рубашку. Потянул через голову. Поднял руки, чтобы надеть свитер.

На секунду левая рука обнажилась — внутренняя сторона, там, где рука переходит в подмышку. На бледной, незагорелой коже — татуировка. Маленькая, чёрная, аккуратная. Группа крови. Две буквы и цифра. Метка. Которую нельзя снять, как форму. Нельзя сжечь, как сжигают в печи.

Фриц натянул свитер. Быстро. Шерсть скрыла руку, скрыла метку.

Но взгляд Гольдштейна — тот скользящий, секундный взгляд поверх очков — задержался. На долю секунды. В нём не было ни страха, ни ненависти. В нём была тысячелетняя, ледяная, невыносимая тяжесть абсолютного знания.

— Подходит, — сказал Гольдштейн. — Возьмёте?

— Сколько? — спросил Фриц.

— Свитер?.. В подарок.

Он сказал это просто. Без нажима. Как говорят о погоде.

Фриц кивнул.

Гольдштейн завернул костюм и свитер в серо-коричневую обёрточную бумагу, перевязал бечёвкой. Пальцы двигались точно, привычно. Свёрток лёг на прилавок — аккуратный, прямоугольный.

— Спасибо, Ноа, — сказал Фриц. Взял свёрток. Повернулся к двери.

— Герр Вебер.

Фриц остановился. Спиной к портному.

— Удачи вам. Найдите вашу семью.

Фриц не обернулся. Вышел.

На Банхофштрассе, у лотка старьёвщика, он купил чемодан. Небольшой, потёртый, фибровый, с поцарапанными замками. Чемодан, побывавший в чужих руках.

В вестибюле «Кайзерхофа» портье поднял глаза от газеты. Взгляд скользнул по чемодану.

— Собрались уезжать, герр Вебер?

— Завтра. Наверное, завтра.

Он поднялся в номер. Положил свёрток на кровать. Развернул. Костюм — серый. Свитер — мягкий, светло-серый. Сложил в чемодан. Замки щёлкнули.

Сел на кровать. Потом — лёг.

Потолок — белый. Трещина — нет, без трещины. Потолок номера двенадцать.

Он видел.

Мысль пришла не из головы — из затылка, из того места, где позвоночник соединяется с черепом. Из животного, древнего места, которое не думает, а знает.

Гольдштейн видел татуировку. Взгляд — секундный, скользящий, — но достаточный. Он знает. Он знает, что Вебер — не Вебер. Он прочитал тело, как портной читает ткань: по швам, по затяжкам, по следам.

И что теперь? Расскажет? Патрулю? Англичанам? Тем, кто ищет «разных»? Или промолчит? Потому что устал? Потому что зима? Потому что подарок?

В тишине комнаты, прямо внутри его черепной коробки, начал рождаться звук. Сначала это был просто стук крови в висках. Но затем стук обрёл форму.

Музыка, та самая — резкая, нервная. Бандонеон. Инструмент, который не играет, а дышит, и дыхание рваное, лихорадочное. Танго, вывернутое наизнанку. Танго без партнёра. Танго, в котором ведёт страх. Ритм был неровным, синкопированным — не три четверти вальса, а что-то рваное, портовое, из города, которого он никогда не видел, из порта на другом краю земли.

Скрипки резали воздух короткими штрихами. Бандонеон выл всё пронзительней. Стены номера двенадцать сужались. Фриц лежал, и потолок плыл, и музыка нарастала — была по оголённым нервам — и мысль, не мысль, а пульс, повторяла:

Он знает. Он расскажет. Он...

Музыка оборвалась. Тишина. Тиканье часов — откуда? Со стены? Из головы?

Фриц заснул.

Он проснулся в темноте. Вечерней, густой. За окном фонарь, рыжий. Тени длинные. Тишина, которая бывает между семью и восьмью часами, когда дневные люди ушли, а ночные ещё не вышли.

Фриц встал.

Движения были экономными и математически выверенными. Пульс — ровный. Дыхание — спокойное.

Он оделся. Пиджак. Пальто. Ботинки зашнуровал аккуратно, двойным узлом. Подошёл к кровати. Взял край застиранной простыни и сильным рывком оторвал узкую длинную полосу. Сложил и убрал в карман.

Вышел.

Коридор пуст. Лестница пуста. Вестибюль пуст. Портье нет. Часы на стене тикают.

Улица. Ганновер ночной, мокрый. Фонари через один. Фриц шёл — и походка была другой: не сутулой, не осторожной — прямой, мерной, походкой человека, который идёт выполнять.

Хозяйственная лавка на Курцештрассе. Деревянная дверь. Замок, который не выдержал бы и ребёнка. Фриц ударил плечом. Дверь хрустнула. Он вошёл в темноту, пахнущую мылом и химикатами. Нашёл канистру — жестяную, полную. Взял.

Вышел. Не оглянулся.

Банхофштрассе. Дом. Ступени вниз.

Окно полуподвала горело. Тёплый, жёлтый свет на мокром асфальте. Движения за стеклом не было видно. Или было. Фриц не всматривался.

Он отвинтил крышку канистры. Запах керосина — густой, маслянистый — ударил в ноздри.

Плеснул на дверь. Керосин потёк по зелёной краске, по дереву, к порогу. Плеснул на оконную раму. На стену. Канистру поставил у ступеней. Достал тряпку. Промочил.

Достал спички. Чиркнул.

Маленький жёлтый огонь вспыхнул сразу. Поднёс к тряпке. Ткань занялась. Бросил под дверь.

Огонь, коснувшись керосина, взревел, поднялся, охватил раму. Дерево трещало. Краска пузырилась. Дым пошёл вверх — чёрный, густой.

Фриц отступил на несколько шагов. Остановился на краю тротуара. Руки в карманах пальто. Стоял и смотрел.

Огонь рос. Буквы на вывеске — «Н. Гольдштейн. Портной» — чернели, корчились. Дым поднимался. Чёрный. С чёрными хлопьями.

Краем глаза он уловил движение. На противоположной стороне узкой улицы, на втором этаже тёмного дома, осветилось окно. Фриц медленно повернул голову.

Женщина.

Она стояла у окна. В синем платье с белым воротничком. Лицо бледное, освещённое отсветом огня. Лицо, которое он знал. Нет — лицо, которое было похоже. На Хельгу. На женщину в саду. На всех. На никого.

Она смотрела на огонь. Потом — посмотрела на него.

Затем подняла руку и медленным, беспощадным движением задёрнула тяжёлую тёмную штору.

Эпилог

Поляна лежала в ложбине между двумя холмами, словно в раскрытой ладони — тёплая, защищённая от ветра.

Трава — апрельская, молодая, того невозможного, свежесжатого зелёного цвета, который бывает только в последнюю неделю апреля, когда земля уже решила жить, но ещё не забыла зиму. В траве тонули одуванчики — уже жёлтые, круглые, бесстыдно яркие. Маленькие солнца, упавшие в траву и не разбившиеся.

Яблоня на краю поляны цвела. Цвела тихо, сосредоточенно, как цветут старые деревья — не напоказ. Лепестки, бело-розовые, полупрозрачные, кружились в воздухе, когда ветер — лёгкий, пахнущий клевером и нагретой землёй — касался ветвей. Они ложились на траву, на одуванчики, на клетчатый плед, расстеленный в тени.

На пледе сидела женщина.

Она сидела, подогнув ноги, и читала. Волосы — светлые, убраны за ухо. Солнце, пробиваясь сквозь крону, ложилось на её лицо подвижными пятнистыми тенями. Она была в простом светлом платье. Ноги босые, загорелые уже — апрельское солнце в этих краях щедрое. Пальцы ног шевелились в траве, машинально, как шевелятся у человека, слушающего музыку, которую слышит только он.

В её руках книга — старая, в мягкой обложке, с загнутыми углами. Она читала медленно, иногда возвращаясь на строку назад, и губы чуть шевелились.

Мальчики играли в десяти шагах от пледа. Бегали, кричали, падали в траву, вставали, бежали снова. Старшему — лет восемь, серьёзный, с прямой спиной. Младшему — пять, круглолицый, с коленками в зелёных пятнах.

Младший подбежал, запыхавшийся, с одуванчиком в кулаке.

— Мама! Поиграй с нами!

Она подняла глаза. Улыбнулась — тёплой, далёкой улыбкой человека, который любит, но который здесь и не здесь.

— Играйте вдвоём, мой хороший. Мне осталось немного.

Старший подошёл. Посмотрел на книгу.

— А что ты читаешь?

— Это про человека, — сказала она, — который пытается понять, за что его арестовали. И за что его судят.

— А его отпустят?

Лепесток яблони опустился на страницу.

— Не знаю. Я ещё не дочитала.

— Мама! — младший потянул её за подол. — А ты нам споёшь ту песню! Ну, ту — грустную! Которая ты говорила, что папе так нравилась!

— Какую?

— Ну, я не знаю... — он подпрыгивал, и одуванчик терял лепестки, и лепестки — жёлтые, невесомые — садились на плед, на книгу, на светлое платье. — Немецкую!

— Дурачок! — старший закатил глаза. — Она испанская.

— Сам дурачок!

Младший с размаху стукнул брата кулаком по плечу — не больно, весело — и с радостным, залившимся визгом бросился бежать через поляну. Старший на мгновение опешил, а затем с возмущённым криком сорвался с места вдогонку.

Они бежали сквозь траву, их светлые макушки мелькали в весеннем солнце.

Она смотрела им вслед. Книга лежала на коленях раскрытая, забытая. Ветер перевернул страницу.

На её лице было то выражение, для которого нет слова ни в одном языке. Нежность — да. Но и что-то ещё. Что-то, что знают только матери, когда смотрят на своих детей и видят одновременно — всё: то, что было, и то, что есть, и то, что будет. Светлая, невесомая печаль.

Женщина закрыла глаза, подставила лицо солнцу, и ветер стёр с её губ печаль. Губы её чуть шевельнулись — не слово, а тень слова, начало мелодии, которая не прозвучала. Или прозвучала — но так тихо, что только ветер услышал.

Yo estaba bien por un tiempo

Volviendo a sonreír

Luego anoche te vi...

Где-то в листве запела птица. Одна нота. Долгая, низкая, дрожащая.

На просёлочной дороге, за низко подстриженной изгородью из бирючины, стоял автомобиль. Открытый, оливково-зелёный, с белой звездой на капоте.

В машине сидел офицер. Молодой, в берете. Он курил трубку, небрежно закинув левую руку на дверцу автомобиля. Он не смотрел на дорогу. Он смотрел на залитую солнцем поляну — на женщину, на мальчиков в траве, на лепестки, кружащиеся в воздухе. Смотрел спокойно, рассеянно, с тем бездумным любованием, с которым смотрят на красивый пейзаж, не задумываясь, что за ним.

На соседнем сиденье лежала книга. Толстая, в тёмном переплёте, слегка потёртом по краям. Солнце, пробиваясь сквозь листву, ложилось на обложку тёплыми пятнами, и золотое тиснение на корешке мерцало, полустёртое, почти нечитаемое.

Houston Stewart Chamberlain
The Foundations of the Nineteenth Century. Volume 2
London, New York, John Lane
1911

Офицер выдохнул тонкую струйку дыма. Дым растаял.

Глоссарий

Лимбо (от лат. *limbus* — край, граница) — это понятие, описывающее пограничное, «подвешенное» состояние неопределённости. В широком смысле это пространство или ситуация «между», где человек или объект завис, не попадая ни в одну из конечных категорий. Термин используется в психологии (ступор), религии (место для душ), поп-культуре (*Atomic Heart*) и анатомии (зона роговицы).

Vor der Kaserne, vor dem großen Tor... — Перед казармами, перед большими воротами... Это первая строка солдатской песни «Лили Марлен» в исполнении Лале Андерсен в 1939 году, которая приобрела популярность по обе стороны фронта во время Второй мировой войны. Текст песни был первоначально написан Хансом Лейпом, немецким солдатом Первой мировой войны.

Фриц (Франц) Ланг — Рудольф Хёсс. Комендант лагеря Аушвиц, Освенцим. В мае 1945 года бежал, скрывался под именем «боцмана Фрица Ланга» на ферме в Шлезвиг-Гольштейне. 11 марта 1946 года был арестован британской военной полицией на ферме возле Фленсбурга. 23 мая 1946 года выдан польским властям. Польский Верховный национальный трибунал 2 апреля 1947 года приговорил его к смертной казни через повешение.

Александрплац — ключевой транспортный и исторический узел Берлина, ставший свидетелем расцвета нацистской пропаганды (1933–1945 годах), продвигавшей антисемитизм и расовые теории.

Доктор (филологии) — Йозеф Геббельс.

Вертиго — медицинский термин, обозначающий истинное головокружение, при котором возникает иллюзия вращения собственного тела или окружающих предметов. «Головокружение» (*Vertigo*) — один из классических фильмов Альфреда Хичкока. Его жанр можно определить как триллер с элементами детектива. Сюжет основан на романе Буало и Нарсежака «Из царства мёртвых».

KL / KZ Sachsenhausen — Заксенхаузен (концентрационный лагерь), расположенный в городе Ораниенбург в Германии. Создан в июле 1936 года.

Llorando («Плач») — песня в исполнении Ребекка Дель Рио, певицы из фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001).

No hay banda («оркестра нет») — культовая фраза, произносимая в клубе *Silencio* в сцене из того же фильма. Она означает, что всё происходящее здесь — запись, иллюзия, а не живое выступление, подчёркивает темы искусственности, сна и манипуляции.

Ладино — сефардский язык / еврейско-испанский язык.

Pz. II (Panzerkampfwagen II / Панцер II) — немецкий лёгкий танк, разработанный фирмой MAN в 1930-х годах и участвовавший во Второй мировой войне с её начала до самого конца. В 1939 году Pz. II был самым многочисленным танком Германии.

«Катюшка» (СБ / АНТ-40) — советский двухмоторный многоместный фронтовой (средний) бомбардировщик. Выпускался в 1935–1941 годах, применялся во время Гражданской войны в Испании и в I-й половине Второй мировой войны.

Мандала — сакральный геометрический символ в буддизме и индуизме, представляющий собой сложную структуру, вписанную в круг (иногда квадрат), символизирующую карту космоса, вселенную или модель «я». Считается «контейнером энергии». Песочный рисунок мандалы часто разрушают после завершения, как символ непостоянства жизни.

Geheime Reichssache — Совершенно секретная государственная информация.

Брайтенау (Breitenau) — концентрационный лагерь, созданный в июне 1933 года в Гуксгагене, в 15 километрах на юг от Касселя, на территории бывшего монастыря.

Бандонеон — духовой язычковый музыкальный инструмент, разновидность гармоники. Благодаря ему музыка аргентинского танго получила такое пронзительно-щемящее звучание.

Танго — главная музыкальная тема фильма «12 обезьян» (режиссёр Терри Терри Гиллиам, 1995) — Suite Punta del Este Астора Пьяццоллы, композитора и виртуоза игры на бандонеоне. Меланхоличная и напряженная мелодия инструмента звучит на протяжении фильма, подчёркивая атмосферу антиутопии и временной петли.

Книга — «Процесс» Франца Кафки — притча об абсурдности бытия, беспомощности человека перед всемогущей, безликой бюрократической системой и метафизической вине. Главный герой, Йозеф К., арестован без объяснения причин и вынужден участвовать в бесконечном судебном процессе.

Yo estaba bien por un tiempo / Volviendo a sonreír / Luego anoche te vi... — Я чувствовала себя хорошо / Некоторое время. Снова улыбалась / А потом вчера вечером я увидела тебя... Первые строки из песни Llorando («Плач»).

Houston Stewart Chamberlain. The Foundations of the Nineteenth Century. Volume 2. London, New York, John Lane. 1911 — Первое англоязычное издание книги британца Хьюстона Стюарта Чемберлена «Основы девятнадцатого века. Том 2». Книга развивает расовую теорию автора, отводя евреям роль «чужеродного элемента», разрушающего европейскую (арийскую) цивилизацию. Идеологические концепции Чемберлена позднее нашли

продолжение в теориях Адольфа Гитлера, изложенных в «Майн кампф». По словам Рудольфа Гесса, заместителя фюрера по партии, со смертью автора в 1927 году Германия «похоронила одного из величайших своих мыслителей, борца за германское дело, как и написано на венке, возложенном от имени Движения (НСДАП)».